



«Двойник» и «Мёртвые души»

К проблеме диалога текстов

О. Г. ДИЛАКТОРСКАЯ,
кандидат филологических наук

Ориентация на атмосферу гоголевской поэмы формируется с самого начала повествования, но особенно бросается в глаза в IV главе повести Ф.М. Достоевского. День рождения Клары Олсуфьевны – это открыто стилизованный текст "Мёртвых душ", настоящий полноводный поток ассоциаций, соединяющий оба произведения. Достоевский прибегает к прямой цитации ("устремивших на него полные ожидания очи" – Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 129; далее – только том и стр. // "обратило на меня полные ожидания очи..." – Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 6. С. 221; далее – только том и стр.), называет свою повесть "поэмой", обращается к литературным спорам о "Мёртвых душах": в его фразе "О, если бы я был поэт! – разумеется, по крайней мере такой, как Гомер или Пушкин; с меньшим талантом соваться нельзя" (1, 128) – узнаются не только гоголевские апелляции к именам великих поэтов, но и отголоски жаркого спора о Гоголе, о его месте и значении в мировой и русской литературе между К.С. Аксаковым и В.Г. Белинским.

Автор "Двойника" широко использует различные стилистические приемы Гоголя: именные, звуковые, словесные и смысловые инверсии (*Иван Семёнович – Семён Иванович // Кифа Мокиевич – Мокий Кифович; любезная солидность – солидная любезность*), употребление слов и словосочетаний по стилистической фигуре "стык" ("*запнулся и завяз... завяз и покраснел; покраснел и потерялся; потерялся и поднял глаза; поднял глаза и обвёл их кругом; обвёл их кругом и – и обер...*" – 1, 133–134 // "*очутился уже в объёмьях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы – откупщику. откупщик – архитектору...*" – 6, 162), интонационное построение синтаксической фразы ("*Заходила ли, например,*

речь о каком-нибудь сомнительном пункте, гость тотчас же соглашался с мнением господина Голядкина. Если же как-нибудь, по ошибке, заходил мнением своим в контру господину Голядкину и потом замечал, что сбился с дороги, то тотчас же поправлял свою речь, объяснялся и давал немедленно знать, что он всё понимает точно таким же образом, как хозяин его, мыслит так же, как он, и смотрит на всё совершенно такими же глазами, как и он" – 1, 156 // "О чём бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведённого казённую палатую, – он показал, что ему неизвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре – и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках – и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком" – 6, 17–18). Достоевский настойчиво обращается не только к стилю "Мёртвых душ", но и к образам, к характерам. Например, в параллель чичиковскому слуге Петрушке с его особенным запахом избран слуга Голядкина, которого отличает то же качество: "взглянул на кровать Петрушки; но в комнате даже не пахло Петрушкой..." (1, 187; курсив наш. – О.Д.). По принципу синекдохи Коробочкин индейский петух, который "заболтал ему (Чичикову. – О.Д.) что-то вдруг и весьма скоро на своём странном языке..." (6, 48), напоминает самовар Голядкина, который "что-то с жаром, быстро болтал на своём мудрёном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину" (1, 110). Достоевский обыгрывает и чин Чичикова – коллежский советник есть и в "Двойнике" (Андрей Филиппович) и даже лошадок – прозывающихся "казанскими" (1, 112). В характерах Голядкина-старшего и особенно вездесущего Голядкина-младшего узнаются многие черты Чичикова (см.: Храпченко М.Б. Творчество Гоголя. М., 1959. С. 577). Зачем всё это нужно автору "Двойника"? Неужели для того, чтобы в наследство получить прозвище "выюрка" из Гоголя? (Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996. С. 304). А может быть, эти внешние скрепы являются залогом содержательных внутренних связей?

Достоевскому как будто тесно в рамках "петербургской повести", он в "Двойнике" стремится выйти к поэме. И связи с поэмой "Мёртвые души" здесь более глубокие, чем представляется на первый взгляд и выражается это в использовании цитат, стиля, деталей, ситуаций,

пародирования, грамматического ряда, интонационных фигур и т.д. Писатель этот свой "выход" к поэме Гоголя видит и строит в главных идейных, сущностных отношениях.

Достоевского тревожили загадки гоголевского текста: «"Мёртвые души давят на ум", вызывают в русском уме "самые беспокоящие мысли"» (22, 106). Эти слова высказаны поздним Достоевским, но это не значит, что подобные мысли не приходили в голову молодому писателю.

Возможно, совсем не случайно избран в герои "петербургской поэмы" во всех отношениях "средний" чиновник – ни Башмачкин, ни Понрицин, ни Ковалёв, а что-то среднее. Чичиков в поэме тоже представляет среднего русского человека. Ещё одно: двоющийся Голядкин (человек и бес) отражает словно бы двоющегося Чичикова (человека и антихриста). Образ Чичикова тоже как будто "примерен" к обоим Голядкиным.

Голядкин-старший и Чичиков имеют одну и ту же привычку подбадривать себя (ущипнув за щёку или потрепав по подбородку: "Эх ты, фигурант ты этакой!" – 1, 132 // "Ах ты, мордашка эдакой!" – 6, 161), они похожи и в том, как собираются на бал, с каким тщательным усердием оглаживаются, оба с любопытством рассматривают себя в зеркале, в их истории вполётён и мнимый мотив увоза невесты – генеральской / губернаторской дочки, у обоих слуги Петрушки с молчаливым характером, героев соотносит и мотив понытчика. Наконец, самое главное: оба они оскандалившиеся неудачники, изгнанные из общества, обоим отказано там, где прежде путь для них был открыт ("Не велено принимать-с, вам отказывать велено. Вот как!" – 1, 126 // "Не приказано принимать! <...> Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно" – 6, 212).

Голядкин-младший, склонный к перевоплощениям, отражает другую сторону чичиковского характера. Обоим свойственно скрывать свою глубину, таить истинную сущность, прикрываться маской скромного, потерпевшего на службе человека. История "смирненного" двойника – своеобразная цитата чичиковской истории: "Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и председателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из понытчиков, о ревизоре, о внезапной перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно..." – то есть передаётся "самая пустая история" (1, 155–156) – обычная, распространённая, но и выдуманная, книжная. В ней высказано то, о чём, например, не договаривает Чичиков: "О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностью, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он незначащий червь мира сего и не достоин

того, чтобы много о нём заботились, что испытал много на веку своём, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его..." (6, 13). Герой умалчивает о своей службе повытчиком, о внезапной перемене начальства, к которому "уж никаким образом не мог втереться" (6, 233) в доверие, и, однажды изгнанный, уже не был взят вторично на хлебное местечко в комиссию по постройке казённых зданий, о службе на таможне, о тайных сношениях с контрабандистами, о доносе компаньона, о новом изгнании. В голядкинской истории отражено и то, что не мог ещё знать о себе Чичиков: о губернском городе, председателях, прокурорах. В "складках" книжного языка оба прячут истину. На деле как Голядкин-младший, так и Чичиков – это ловкие, хитрые, лживые, бойкие в делах, умеющие "покурить лестью", в короткий срок способные очаровать, оболыстать новые жертвы, расчётливые "подлецы", как их честят герой Достоевского и сам Гоголь. Итак, есть Голядкин-подлец и Чичиков-подлец, как есть Голядкин-неудачник и Чичиков-неудачник.

Однако имеется и другой ракурс, поворот образов Голядкина-младшего и Чичикова, когда оба героя предстают как силы высшего зла, в христианском сознании – как бес и дьявол, антихрист (см.: Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. Л., 1982. С. 31). Несомненно, ориентация образа Голядкина-младшего на образ Чичикова ещё в одном разрезе – в гоголевском – вскрывает его сверхъестественную природу. Безусловно, Достоевский разглядел вторую сущность Чичикова и трансформировал её в образ своего героя. Голядкин-младший, как и Чичиков, охотится за человеческой душой. Гоголевский текст поднимает в "Двойнике" новый пласт значений, формирует мифологический контекст. Это сказывается, например, на том, как социальный тип чиновника, преуспевающего карьериста и "подлеца", сразу приобретает черты внесоциального значения, что мгновенно увеличивает масштаб типизирующих обобщений.

Эпический размах строится жанровым хронотопом и прежде всего связан с мотивом дороги (Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 235, 392–394). Гоголь "запускает" в путь своего героя, который одновременно следует и по дороге жизни (Маркович В.М. Указ. соч. С. 25–27). Но это путь не только от молодости к старости, но и путь искушений, хождение по "страстям". Встречи Чичикова с Маниловым, Коробочкой, Ноздрёвым, Собакевичем и Плюшкиным – это и встречи с человеческими пороками. Герой Гоголя, подобно Данте и Вергилию, путешествует по аду, но по аду России. Это сразу же было отмечено. А.И. Герцен, например, записывает в "Дневнике" за 1842 год: "Тут (в "Мёртвых душах". – *О.Д.*) {...} обдаёт ужас, с каждым шагом вязнете, тонете глубже. Лирическое место вдруг

оживит, осветит и сейчас заменяется опять картиной, напоминающей ещё яснее, в каком *рву ада* находимся, и как Дант хотел бы перестать видеть и слышать" (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 220). Позднее, отвечая И. Мишле статьёй "Русский народ и социализм", Герцен ещё сильнее скажет, отчётливее нарисует образ России, уподобленной дантовскому аду: "Эта Россия начинается с императора и идёт от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдалённом закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских *bolgi* (ямах ада), новую силу зла, новую степень разврата и жестокости" (Герцен А.И. Указ. соч. Т. 7. С. 329). Кроме Герцена, и другие современники Гоголя сразу же уловили соотнесённость главной темы его поэмы с поэмой Данте (Шевырёв С.П. "Похождения Чичикова, или Мёртвые души" Н.В. Гоголя // Москвитянин. 1842. Ч. 4. № 8. С. 359, 362; Вяземский П.А. Русский архив. 1866. № 7. Стлб. 1081–1082). Эсхатологические мотивы загробного странствования, тема смерти, тема страстей – пороков, тема чистилища, тройственность композиции – всё это несомненно откликается в гоголевской поэме, и об этом создана большая и интересная научная литература (Веселовский Алексей Н. Этюды и характеристики. М., 1912. Т. 2. С. 234; Шкловский В.Б. Повести о прозе. Размышления и разборы. М., 1966. Т. 2. С. 147; Илюшин А.А. Реминисценции из "Божественной комедии" в русской литературе XIX в. // Дантовские чтения. 1968. М., 1968. С. 153; Смирнова Е.А. О многозначности "Мёртвых душ" // Контекст. 1982. М., 1983 и др.).

Тема смерти вынесена в заглавие поэмы Гоголя: "Мёртвые души". "Это заглавие, – писал А.И. Герцен, – само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские – мёртвые души, а все эти Ноздрёвы, Маниловы и *tutti quanti* – вот мёртвые души, и мы их встречаем на каждом шагу" (Герцен А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 220). С темой смерти и мёртвой души в поэму Гоголя входит христианско-религиозная символика. Чичиков выступает в роли антихриста, скупающего мёртвые души, захваченные грехами. А если взглянуть на галерею помещиков в поэме как на ряд картин, символизированных христианские пороки, то получится, что Манилов олицетворяет праздность; Коробочка – стяжательство; Ноздрёв – ложь, клеветничество, пьянство, лихву; Собакевич – чревоугодие; Плюшкин – скупость. Гоголевские герои, с этой точки зрения, – это грешники, которые утратили свою живую душу. Чичиков же все их пороки собирает в себе (чревоугодие Собакевича, стяжательство Коробочки, скупость Плюшкина, ложь и лихву Ноздрёва, празднословие Манилова), "вяжет их в один узел" (В.Ф. Переверзев), выступает по отношению к каждому отражающим зеркалом, двойником. В этом ракурсе

ориентация "Двойника" на "Мёртвые души" приобретает особый смысл.

Как и Гоголя, Достоевского возбуждали эсхатологические идеи о душе, смерти и бессмертии. Писатель понимал, что исследование таких вопросов требует широкого эпического дыхания, особой жанровой формы. Проекция на "Мёртвые души" даёт Достоевскому имитацию эпической широты. Не случайно он обращается к мотиву дороги как к организующему всё повествование конструктивному элементу.

Дорога господина Голядкина – это не только путь от Шестилавочной к Измайловскому мосту, пробежки в департамент, прогулки по Невскому. Писатель придаёт мотиву дороги особый смысл. Шифр пространственных перемещений героя в "Двойнике" раскрыл Г.А. Фёдоров в своей замечательной работе «Петербург "Двойника"». Исследователь обнаружил исторический подтекст на топографическом и криптографическом уровнях, конфликт Голядкина он увидел как конфликт жалкого титулярного советника с имперской столицей, с Петербургом, как конфликт человека, который "осмелился на свой путь" (Фёдоров Г.А. Петербург "Двойника" // Знание – сила. 1974. № 5. С. 44), то есть на путь социального бунта. Выше было отмечено, что значения пути Голядкина этим смыслом не исчерпываются.

Дорога – это движение во времени и в пространстве. Мотив дороги изначально придаёт повествованию особый динамизм. Уже сборы в дорогу настраивают на длительность действия, придают развивающимся событиям эпический размах. Ни одна петербургская повесть не начинается *сборами в дорогу*, кроме "Двойника". Длительность, значительность путешествия героя подчёркивается и особым выездом – в карете, что для титулярного советника большая странность. Конечно, "голубая карета", взятая напрокат, – это не чичиковский экипаж, приспособленный для долгого путешествия по расхлябанным дорогам России. И всё-таки Достоевский поддерживает этот романно-поэзный мотив путешествия своего героя и его *приключений* сравнением именно с дорогой Чичикова, о *похождениях* которого Гоголь рассказал в "Мёртвых душах". Как и Чичикова, господина Голядкина на его дороге ждут неожиданные встречи: с сослуживцами в неурочный час, с начальником – всё это будет иметь нежелательный результат. Голубая карета с гербами проедется по Невскому, вернётся на Литейный, будет ждать у дома № 5, где живёт доктор, вновь отправится на Невский к Гостиному двору, к известному ресторану, наконец, подкатит к Измайловскому мосту, остановится у подъезда правого фаса, вдруг сорвётся и понесётся вон со двора, выскочит на набережную Фонтанки, полетит прочь от Измайловского моста, воротится назад, объедет кругом весь двор и, не останавливаясь, выправит на улицу, миновав Семёновский мост, завернёт в переулок и встанет у трактира. Запу-

таннный путь голядкинского экипажа в миниатюре повторяет путь чичиковской брички, так сказать, общий рисунок пути: с неожиданными заездами, незапланированными остановками, плутанием по дорогам, простаиванием в пути. В отличие от Гоголя (въезд в город NN красивой рессорной небольшой брички "не произвёл совершенно никакого шума" – 6, 7), Достоевский выезд своего героя обставляет иначе: Голядкин выезжает "с шумом и громом, звеня и треща" (1, 112). Нельзя не заметить грохочущей кареты, умышленно противопоставленной незаметному чичиковскому экипажу.

Мотив дальней дороги не ослабевает в повести, вновь объявляется, когда возникает мотив увоза невесты. Опять кстаги подворачивается карета, прочерчивается перспектива долгого пути. Дальняя дорога становится для героя и дорогой на тот свет. Достоевский преодолевает законы реального времени. Эпическое время вступает в свои права, вызывая "богатую метафоризацию пути-дороги" (Бахтин М.М. Указ. соч. С. 392).

В петербургских повестях и Пушкина, и Гоголя, и самого Достоевского мотив пути как мотив жизненной дороги, смертного пути, пожалуй, нигде не находит применения, кроме как в "Двойнике". Риторические высказывания героя – "широкий путь", "особая дорога" – вскоре сменяются отчётливым пониманием: "Стало быть, жизнь в опасности!" (1, 208). Мотив гибели (пушкинского Евгения, Пискарёва, Чарткова, Поприщина, Башмачкина, Васи Шумкова) ничего общего не имеет с мотивом смертного пути. Последние три дня голядкинской жизни после встречи с Двойником – это путь предельного существования. Каждый шаг на этом пути пронизан символическими смыслами.

Погоня героя за своим Двойником – это погоня за миражом и "миражной жизнью" (Ап. Григорьев). Достоевский даёт понять, что ни чины, ни женитьба, ни другие блага для него уже не имеют значения, хотя сам Голядкин об этом ещё не догадывается. Человек выходит на последнюю дорогу, а суетится, словно у него в запасе вечность. Он хотел бы глядеться как ни в чём не бывало, "ни в одном глазу" (1, 145). Но как раз это ему и не удаётся. Голядкин многое хотел бы отдать, чтобы не было "пришельца", голубой кареты, срама на дне рождении Клары Олсуфьевны, куда он проник самозванцем, пререканий и словесных потасовок с начальником канцелярии и т.д. – всё это осознаётся у последней черты: "какая тут свадьба! {...} Какой тут вояж! {...} тут всеобщая смерть..." (1, 213). Ему бы увернуться, "от греха подальше быть" (1, 173), но Двойник наманивает, наталкивает на грех, вовлекает во всё новые свои интриги. Путь Голядкина поворачивается ещё одной гранью смысла – как путь грешника, которого обуяли страсти, соблазны. Среди них можно разглядеть и клеветничество, и зависть, и празднословие, и интриганство, и чревоугодие, и трусость, и т.д.

Заметим, что уже в заглавии "Двойник" – спрятана тема смерти ("перед смертью себя вдвойне видела..." – 1, 149; курсив наш. – О.Д.). Но не объявлена, как в "Мёртвых душах", не выставлена наружу: тема смерти раскрывается в повести Достоевского всем ходом развития сюжета, но и сосредоточена в образе Двойника. Он выступает предвестником смерти, проявителем души, ферментирующим то, от чего человек пропадает, исследователем глубинного "я". Двойник – выразитель власти той мертвенной силы, которая подчиняет себе человека, выталкивает за грань бытия. Он – держатель внутреннего и внешнего плана повести, социального и символического сюжетов, с ним связаны две главные авторские идеи – "анатомии души" (Майков В.Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 182) и "анатомии всех русских отношений к начальству" (1, 432). Двойник, как и Чичиков, вполне реальное, осязаемое лицо, но и лицо фантастическое, мистическое. Достоевский, вслед за Гоголем, ловцом души ставит чиновника с совершенно заурядной биографией, невыразительной внешностью, с виртуозной способностью к перевоплощениям – страстотерпца, оборачивающегося бесом и антихристом, волком, хищником, рядящимся в овечью шкуру.

Вопрос, отчего пропадает душа, – одинаково был интересен Гоголю в "Мёртвых душах" и Достоевскому в "Двойнике". Оба писателя отвечали на него сходным образом. По Гоголю, душа человеческая становится добычей пагубных страстей: "Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти (...) и все они, низкие и прекрасные, все вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его" (6, 242). По Достоевскому, душа гибнет от самого же человека: "сам от себя человек исчезает", "самого себя не может сдержать" (1, 213), то есть удержать себя от низких помыслов и преступных порывов. А теперь Гоголь во втором томе "Мёртвых душ" как бы подхватывает мысли Достоевского: "гибнет уже земля наша (...) от нас самих" (7, 126) – так могла отрезонировать идея молодого автора. Вместе с тем у писателей формируется разное отношение к состоянию души современного среднего человека. Гоголь в поэме рассказывает о душе мёртвой и ищет живую, Достоевский – о душе грешной, погибающей. В "Двойнике" впервые писатель размышляет о гибнущем человеке, создаёт концепцию погибающей личности, представляет трагическую картину гибели человеческой души. Как видим, связи с поэмой Гоголя многое проясняют в повести Достоевского, неуловимое и скользящее. Авторские цитаты, лежащие на поверхности, иллюстрируют не только диалог стилей, но и уводят в глубину – к диалогу идей.

Безусловно, проекция "Двойника" на "Мёртвые души" раскрывает стремление Достоевского придать своей повести особый эпический объём, выявить таким образом масштабность своей идеи, поставить её

в параллель со многими темами и вопросами гоголевской поэмы: с эсхатологическими темами смерти и души, с изображением социальной действительности как ада, с размышлениями о том, почему гибнет душа человеческая, в чём коренятся причины оскудения личности, деформации её нравственных основ, какую власть имеют над душой страсти. Этот "диалог" идей поддерживается на разных уровнях текста перекличкой сюжетных мотивов, деталей, стиля.

Как и Гоголь в "Мёртвых душах", Достоевский в "Двойнике" придаёт мотиву дороги символическое значение. Мотив пути многофункционален: это и жизненная дорога героя, и грешный путь его земного странствия, что сразу же увеличивает повествовательное пространство произведения, формирует его подтекст, ширит эпическое действие.

Следует сказать и о внутренней перекличке заглавий поэмы о России и "петербургской поэмы" – и то, и другое обнаруживают главную тему обоих текстов в теме гибели души. Образ Двойника в этом случае соотносится с образом Чичикова. Оба выступают в функции зеркала, отражающего общественные и нравственные пороки. На обоих образах поставлены знаки преисподней. Оба занимают центральное место в композиции произведений. Оба выступают проявителями авторской идеи.

В сопоставлении "диалога" идей и художественных систем двух писателей выявляется сходное и противоположное. Достоевский оказывается более искусным шифровальщиком: подтекстовые связи "Двойника" значительно сложнее, упрятаннее, чем подтекстовый план "Мёртвых душ". Вместе с тем именно открыто цитируемый текст гоголевской поэмы выполняет роль указателя на этот шифруемый план, вскрывает смысловой нерв "петербургской поэмы".

В оценке причин гибели души человека и гибели мира Достоевский и Гоголь приходят к перекликающемуся выводу, но автор "Двойника" даже предвосхищает своим пониманием гоголевские раздумья, высказанные во втором томе знаменитой поэмы.

Итак, в "Двойнике" прослеживается гоголевская тема в идеях, в построении характеров, в стиле, в жанровом аспекте, обнажая связи повести с поэмой. Используя жанровые характеристики поэмы (прежде всего хронотоп дороги), Достоевский всё же остаётся в границах петербургской повести. В "Двойнике" писатель впервые создаёт концепцию гибнущей души, погибающего от самого себя человека. Для изображения меняющегося человека автору словно не хватает эпического дыхания. Идея восстановления личности, восстановления погибшего человека – это уже идея романов Достоевского, в том числе и петербургских.

Владивосток

"Русская бездна" Максимилиана Волошина

А.В. НИКОЛАЕВА,
кандидат филологических наук

Предметом пристального внимания М. Волошина на протяжении всего творчества была история России, её место и судьба в современном мире. Поэт считал, что его долг быть "соучастником" важных для отечества событий. И когда он оказался в центре гражданской войны, жестокой братоубийственной бойни, это стало невыносимым для него испытанием, всё происходящее воспринималось им как зло, непростительная, роковая ошибка, изначально лишённая права на существование. Марина Цветаева в воспоминаниях о Волошине приводит его краткий диалог с матерью:

"— Мама, не могу же я влезть в гимнастёрку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я.

— Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая — делать.

— Такие времена, мама, всегда у зверей — это называется животные инстинкты" (Цветаева М. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 207).

Волошин напряжённо ищет ответ: в чём смысл творившихся вокруг разрушений, ломки устоев, морали, надвигающегося хаоса?.. Будучи человеком высочайше образованным, он в стихах и статьях, написанных в 1917–1920 годы, рассматривает революционные перемены в свете дней минувших, с точки зрения всей русской истории, где происходящее — лишь звено в общей цепи событий. Обладая историческим мышлением, поэт считал необходимым представить читателю два взгляда — изнутри и извне. "Нет ничего более трудного, как найти слова, формулирующие современность. Художественное слово, и особенно слово ритмическое, не выносит той условной, поверхностной, газетной правды, разговорной правды, в которой изживается нами каждый текущий миг. Для того, чтобы увидеть текущую современность в связи с общим течением истории, надо суметь отойти от неё на известное расстояние. Обычно оно даётся временем. Но, чтобы найти соответствующую перспективную точку зрения теперь же — в текущий миг, поэт должен найти её в своём мирозерцании, в своём представлении о ходе и развитии мировой трагедии" (Волошин М. Россия распятая. М., 1992. С. 39; далее это издание цитируется только с указанием стр.).

Суровая реальность подтолкнула поэта к поиску новых, непри-

вычных для читателя художественных форм, с помощью которых можно было бы наиболее полно и убедительно воссоздать картину происходящего в России. Так, цикл стихов этого времени он сопровождает комментариями и пояснениями публицистического характера, а в статьях активно использует стихотворные строки.

Обратимся к волошинской статье "Русская бездна" (1919). Она начинается строками: "Воистину в судьбах России скрыта тайна, вызывающая ужас и головокружение. Прикосновение к сердцу её – для чужеземца смертельно.

Польша в Смутное время, Карл XII, Наполеон испытали эти ответные удары, поражавшие громом, как прикосновение к библейскому Ковчегу Завета.

Когда слабели люди, на защиту Руси выступала стихия и отвечала врагу то морозом, то пламенем пожаров, то непреодолимыми пространствами. (...)

Чётко памятен тот весенний вечер, когда, глядя с вышки своей мастерской, я увидел на пустынном Киммерийском побережье германских всадников, спешившихся у моря.

В появлении этих серых, квадратно очерченных знакомых фигур здесь, на окраинах русского мира, на привычном фоне Коктебельского залива, было нечто фантастическое и величественное: мерещились римские воины у ворот Парфянского Царства и Македонская фаланга на берегах Инда" (93).

Поэт вглядывается в современность, вызывая в читательской памяти и воображении события давно минувшего времени и картины дня сегодняшнего. Если, по определению Осипа Мандельштама, "действительность носит сплошной характер", то прозаический текст Волошина предстаёт перед нами "как прерывистый знак непрерывного" (Мандельштам О. Читая Палласа // Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. Тбилиси, 1990. С. 365).

Осип Мандельштам писал: "...только та проза действительно хороша, которая всей своей системой внедрена в сплошное, хотя его невозможно показать никакими силами и средствами" (Там же). Волошину удалось достичь "сплошного" наполнения действительности именно благодаря постоянной смене картин изображаемого, сужением спектра рассмотрения от глобальных, эпохальных исторических полотен до сцен из своей личной жизни.

Жгучие вопросы современности не только уходят корнями в глубь столетий, но и в них находят своё разрешение:

"Что пожар Москвы, погубивший Наполеона, сравнительно с большевицкой одержимостью, грозящей гибелью всей Европейской государственности?

Россия – бездна.

Россия – омут.

Россия – болотная топь, засасывающая всякого чужеземного завоевателя, осмелившегося протянуть руку к Москве" (94).

Эмоциональная напряжённость создаётся здесь наслоением однотипных образов ("Россия – бездна. Россия – омут. Россия – болотная топь..."), экспрессивным синтаксисом. А в другом отрывке образное воздействие достигается введением в текст известной библейской сентенции:

«Большевизм нельзя победить силой оружия.

Когда Москва и Петербург будут взяты, он уйдёт внутрь, в подполье... <...>

Свойство бесов – дробление, множественность.

"Имя мне – легион".

Изгнанный из одного одержимого, бес становится множеством, населяет целое свиное стадо, а свиное стадо увлекает своих пастухов вместе с собою в бездну» (95).

Кажется, что созданная картина вполне законченна и в смысловом, и в эмоциональном плане. Но поэта явно не устраивает собственная привязанность к конкретным событиям, столь откровенная оценка происходящего; он считает это крупным недостатком любого произведения; но его мнению, автор должен быть вне времени, он призван "творить свою вневременную работу" (125). Поэтому Волошин подкрепляет прозаический текст стихотворением, в котором связь поэтических образов с действительностью не столь очевидна.

Был к Иисусу приведён
 Родными отрок бесноватый –
 Со скрежетом и в пене он
 Валялся корчами объятый.
 "Изьди, дух глухонемой!" –
 Сказал Господь.
 И демон злой
 Сотряс его и с криком вышел.
 И отрок понимал и слышал.
 Был спор учеников о том,
 Что не был им тот бес покорен...
 А Он сказал:
 "Сей род упорен:
 Молитвой только и постом
 Его природа одолима" (95).

Этот художественный пересказ библейской притчи имеет более условное, чем в прозе, сходство с происходящим в России. И всё же в приведённых стихах заметен повтор уже заявленных в прозаическом тексте идей, правда, на высоком, христианско-нравственном уровне. Благодаря введению стихотворных строк, служащих целям создания

единого образа и находящихся вне личных авторских оценок, статья приобретала качественно новое звучание. Привлечение библейской лексики (*отрок бесноватый; изыди, дух; демон злой*) демонстрировало принципиально иную культурно-идеологическую позицию, выводило читателя на иной уровень восприятия.

В стихотворении нет никаких примет сегодняшнего времени. Речь идёт и о прошлом, и о будущем. Силы зла не имеют конкретного обличья, тогда как в прозаическом тексте они обозначены – большевики. Личные оценки автора лишь угадываются, его гражданская позиция приобретает характер общечеловеческой. Отсюда и эпическая тональность, и активное использование церковной лексики.

В прозаическом тексте авторские рассуждения полны безысходной уверенности в необратимой победе сил зла:

"Перегонять бесов из человека в свинью, из свиньи в бездну, из бездны опять в человека – это значит только способствовать бесовскому коловращению, вьюжной метели, заметающей русскую землю" (95).

Однако следом звучит уверенность в победе над врагами человечества.

И вот зываем мы: "Прииди!"
 А Избранный вдали от битв
 Куёт постами меч молитв
 И скоро скажет:
 "Бес! Изыди..." (96).

Небольшой стихотворный отрывок вступает в явное и победное противоборство с авторскими рассуждениями о силах зла. Поэт, невольно подчиняясь воздействию библейского сюжета, далее рассматривает нашествие большевизма уже не как неистребимую напасть, а как испытание, которое должно очистить Россию. Личные взгляды и пристрастия отступают при обращении к библейской тематике. Это точка всеобщего объединения и примирения. Поэт подчёркивает, что он не в силах предугадать и верно оценить движение истории. Он на позиции человека, которому не дано знать больше, чем он видит вокруг себя. И эта томительная неизвестность отражена в следующем стихотворном отрывке:

Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
 Была ли ты? есть? или нет?
 Омут... стремнина... головокружение...
 Бездна... безумие... бред... (...)
 Помню квадратные спины и плечи
 Грузных германских солдат...
 Год – и в Германии русское вече:
 Красные флаги кипят.
 Кто там? Французы? Не суйся, товарищ,
 В русскую водоверть!
 Не прикасайся до наших пожарищ:
 Прикосновение – смерть!... (99–100).

Эмоциональное воздействие этих строк достигается с помощью номинативных предложений (*омут... стремнина... бездна... безумие...*), форм экспрессивного синтаксиса (вопросительные предложения, восклицательные). Использованный поэтом эллипсис демонстрирует здесь не просто пропуск слов или словосочетаний, а как бы намеренное отсутствие каких-либо логических связей в предложении. Создается иллюзия отрывочности представлений человека о мире. Исторические факты сменяются описанием внутренних переживаний лирического героя. Стиль предельно близок авторскому в прозаических строках. Достигается это, в частности, благодаря использованию современных форм обращения: "Не суйся, товарищ..."

Исполненными веры в будущее России звучат строки, венчающие статью:

Мы погибаем, не умирая.
 Дух обнажаем до дна.
 Дивное диво! – горит, не сгорая,
 Неопалимая Купина. (100)

Поэт сумел подняться над "обезумевшей реальностью" и приблизиться к пониманию судьбы России. Родина погибает – но в этом залог её бессмертия. Через гибель к вечной жизни. Отсюда и символ Неопалимой Купины – горящего и несгорающего куста, из которого звучит глас Божий.

Разъясняя своё отношение к блоковской поэме "Двенадцать", Волошин писал: "...какое дело такому поэту, как Блок, до остервенелой борьбы двух таких далёких ему человеческих классов, как так называемые буржуазия и пролетариат (<...> Для поэта в этой борьбе могут быть интересны только два порядка явлений: великие мировые силы, увлекающие людей помимо их воли (<...>) или трагедия отдельной человеческой души, кинутой в тёмный лабиринт страстей и заблуждений..." (132).

В статье "Русская бездна" Волошин попытался представить трагедию личности через движение мировой истории. Судьба человека, попавшего в водоворот событий, преподносится читателю как личная трагедия автора. Говорится о том, что ответы на вопросы современности надо искать в прошлом или в будущем. Сам же автор, застигнутый в определённой временной точке, не властен делать какие-нибудь выводы и обобщения, поскольку вокруг него только "омут, стремнина, бездна, безумие, бред...". Однако роль пассивного наблюдателя, не могущего охватить картину мира во всей её полноте, тяготит его. И уверовавший в созидательную силу творчества, поэт творит не просто высокохудожественное произведение, правдиво и ёмко передающее атмосферу революционных дней, но и предсказывает в нём грядущую судьбу России.



Лицо и "личико часов"

у

Владимира Набокова

В.В. САВЕЛЬЕВА.

кандидат филологических наук

Своих героев Набоков наделяет свойственной ему самому мучительной привязанностью к деталям быта, и среди многих явлений вещного мира часы притягивают писателя особенным образом. В "Других берегах" он вспоминает, как в темноте зимних сумерек, ожидая вечно запаздывающего учителя, ощущал "целобусловленное" воздействие предметов: "...как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать этот определённый образ, который у меня теперь запечатлён в мозгу: эту *тихую работу вещей надо мной* я часто чувствовал в минуты пустых, неопределённых досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками" (Набоков Владимир. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 181; далее – том и стр.; курсив наш. – В.С.).

Магия часов общеизвестна: подчиняясь нам, они незаметно подчиняют нас, и мы попадаем в зависимость от них. Эффект соприсутствия способствует очеловечиванию часов: согласно языковым метафорам, они "ходят", "бьют", "стучат", "убегают" или "отстают", "спешат". Но самое притягательное в часах – это циферблат с глазами-цифрами и вечно движущимися стрелками, положение которых определяет характерологию физиономии часов (весёлая, грустная, зловещая, удивлённая).

В набоковском мире часы – это живущее своей жизнью и звучащее пространство. В него вглядываются обычно с вполне утилитарными целями ("Который час?"), у Набокова же пространство зрячее, зирающее на человека и подглядывающее за ним. Оно – лицо, личико, глаз: "...Утром надо вставать непривычно рано и таким образом брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на столике..." (4, 420); "...в странной тишине ему показалось, что он слышит, как тикают часики на её кисти, – золотые, величиной с кошачий глаз" (1, 182).

Набокову важна не идея вещи, а она сама. Вещь у него не символ, а феномен. Он её видит, а не проникает, и, даже погружаясь в глубины предметов, продолжает видеть их пространственную суть: "Он посмотрел на дорогие часики на кисти и с болью увидел, что потерял стёклышко, – да, проехался обшлагом по каменной ограде, когда давеча спотыкаясь лез на гору... Они ещё жили, беззащитные, голые, как живёт вскрытый хирургом орган" (4, 370); "Погодя, она осторожно взяла со стола часы и посмотрела на фосфористые стрелки и цифры, – скелет времени" (1, 257).

Чувство времени у Набокова не самоценно, а пространственно определённо. Даже идея всеуничтожающего времени получает у него пространственное воплощение: угроза смерти, например, в стихотворении "Расстрел" ассоциируется в момент пробуждения с дулом циферблата, который через мгновение оказывается безобидным тикающим механизмом.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, –
вот-вот сейчас пальнёт в меня! –
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнания
я снова чувствую покров.

(Набоков В. Стихотворения, рассказы. М., 1991. С. 77).

Часы интимно связаны с жизнью человека и мира в целом, и эту связь осуществляют и регулируют жесты стрелок. "Поезд отходил в 10.10. Стрелка часов делала стойку, нацеливаясь на минуту, вдруг прыгала на неё, и вот уже нацеливалась на следующую" (3, 414). "Огромная, чёрная стрелка часов, застывшая перед своим ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от её тугого толчка тронется весь мир: медленно отвернётся циферблат, полный отчаяния, презрения и скуки..." (1, 115). С этой фразы начинается роман "Король, дама, валет". На огромном лице привокзальных часов буднично означено время сотворения романного мира и время отправления поезда из провинциального немецкого городка в Берлин.

В момент, предшествующий трагической развязке, все часы в доме Драйера останавливаются. Этот роковой обратный жест возвещает приближение смерти Марты и исчезновения романного мира: "В доме

было как-то легко и пусто без Марты. И было очень тихо, – и Драйеру было даже непонятно, почему так тихо, пока он не заметил, что все часы в доме стоят" (1, 272).

Остановка часов – традиционный жест траурного молчания – с этого жеста начинается предыстория героя в романе "Подвиг": "На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы, с крышкой как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и стрелка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем" (2, 155). В романе "Отчаяние" остановившиеся часы пока только тревожный знак судьбы, которая тем самым как бы указывает, что не берёт героя под своё покровительство: "В комнате было уже довольно светло. Мои часики остановились. Должно быть – пять, половина шестого. (...) Странное пробуждение, странный рассвет" (3, 392). В этом же романе появляются "старые серебряные часы", выложенные на скатерть в новогоднюю ночь: "...помню эту чёрную тушу ночи, дуру-ночь, затаившую дыхание, ожидавшую боя часов, сакраментального срока" (3, 398).

В романе "Король, дама, валет", подробно разрабатывая план убийства мужа, Марта ловит себя на желании оставить для себя его золотые часы (1, 261). Эмблематика этого желания прочитывается почти однозначно: сохранить золотые часы – равнозначно сохранению для себя капитала Драйера ("ей было приятно, что часы и бумажник не пропадут" – 1, 261). Именно упоминание о предстоящей сделке ("Завтра, – сказал он, – я одним махом заработаю тысяч сто") заставляет Марту отсрочить убийство. Эта отсрочка, как окажется, спасёт Драйера и будет роковой для Марты, которая в предсмертном бреде ожесточённо топит оживающий пиджак с часами: "Но вдруг она вспомнила, что в нём остались часы, – и тогда пиджак начал медленно тонуть, вяло двигая обессильными рукавами" (1, 276).

Каков мир, таковы и его часы. Абсурдный мир романа "Приглашение на казнь" живёт по своим особенным часам с нарисованными стрелками и имитируемым часовым боем, о чём читатель узнаёт только в середине романа. "– Вы обратите внимание, когда выйдете, – сказал Цинциннат, – на часы в коридоре. Это – пустой циферблат, но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую, – вот так и живёшь по крашеному времени, а звон производит часовой, почему он так и зовётся" (4, 77). Но совершенно иное время и иные, вечные, часы на готических башнях в эссе "Кэмбридж": "...горят червонные циферблаты на стремительных башнях"; "и всё так же, из году в год, гладкие юноши собирались при перезвоне часов в общих столовых"; "И вот по всему городу начинают бить часы... Круглые, серебряные звуки, отдалённые, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над

чёрными, вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдалённые, в узких, туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моём..." (Набоков В.В. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. С. 337, 339, 340).

Звуковая, а не только жестовая, жизнедеятельность часов важна Набокову необыкновенно. В романе "Подвиг" он не преминет заметить, что воспоминания Мартына о Лиде даны на фоне "тикающих часов в каюте капитана" (2, 172). В "Приглашении на казнь" ритмически повторяющееся упоминание о бое часов сопровождает томительное ожидание неизвестного часа казни: "Опять с банальной унылостью пробили часы" (4, 6); "Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину" (4, 12); "...между тем как с бессмысленной гулкостью били часы" (4, 77); "захрипели перед боем часы" (4, 37); "Донёсся бой часов. Пользуясь их звоном, как платформой, поднялись на поверхность шаги; платформа уплыла, шаги остались..." (4, 30).

В романе "Дар" "мелодия прошлого" включает в себя как неременный элемент бой часов:

По четвергам старик приходит
учтивый, от часовщика.
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет
и переставит у стенных.
На стуле, стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И благополучно
окончив свой приятный труд,
на место ставит стул беззвучно,
и чуть ворча часы идут.

Щёлкая языком иногда и странно переводя дух перед боем. Их тиканье, как поперечно-полосатая лента сантиметра, без конца мерило мои бессонницы" (3, 16). А чуть позже окрылённый и заинтригованный сообщением о рецензии поэт Годунов-Чердынцев расскажет о своих неладах с часами: "Стрелки его часов с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени, так что нельзя было положиться на них..." (3, 27); "Ему казалось, что он сдерживает шаг до шляния, однако попадавшиеся по пути часы (боковые исчадия часовых лавок) шли ещё медленнее..." (3, 29).

Каждый герой Набокова слышит часы и идентифицирует их с деятельностью жизненно важного для него человеческого органа, поэтому естественно, что "одурманенная простудой", "сухо и мучительно кашляющая" Марта слышит дыхание часов ("хрипло тикали часы, задыхались белые конусы салфеток..." – 1, 202), а Лужин – их сердцебиение: "Только тиканье часов на ночном столике доказывало, что время продолжает жить. Лужин вслушивался в это мелкое сердце-

биение и задумывался опять, и вдруг вздрогнул, заметив, что тиканье часов прекратилось. Ему показалось, что ночь застыла навсегда, теперь уже не было ни единого звука, который бы отмечал её прохождение, время умерло, всё было хорошо, бархатная тишь" (2, 139). Для Лужина часы – сердце ночи, и их остановка знаменует смерть времени, – а значит и желанную вечность, конкретным (а не символическим) воплощением которой для него становится "застывшая навсегда ночь". И то, что Лужин не завёл на ночь часы, оказывается не случайной забывчивостью, а подсознательным волевым решением ликвидировать цейтнот, "ибо время в шахматной вселенной беспощадно" (2, 80). "А кто забыл на ночь часы завести? – засмеялась жена (...) – Так можно проспать всю жизнь" (2, 139). Но Лужину его шахматные сны, где он "дрожащий и голый" стоит на "великой доске", не менее страшны, чем "чудовищные комбинации" (2, 138) жизни. Для него остаётся только уход в вечность или в чёрное, квадратное ничто ("квадратную ночь с зеркальным отливом" – 2, 150), где перестаёт биться двойное сердце – человеческое сердце Лужина и механическое сердце ночи.

Бой часов и их тиканье, озвучивая время, передают идею его течения, а цифровые характеристики позволяют представить время как измеряемую длительность. В тринадцатой главе своей автобиографической книги Набоков рассказывает о том, сколько часов он "загубил" и "отнял" у писательства, составляя шахматные задачи: "Умственное напряжение доходит до бредовой крайности; понятие времени выпадает из сознания: рука строителя нашаривает в коробке нужную пешку, сжимает её, пока мысль колеблется, нужна ли тут загычка, можно ли обойтись без преграды, – и когда разжимается кулак, оказывается, что прошло с час времени, истлевшего в накалённом до сияния мозгу составителя" (4, 290). В конце концов опредмеченное время, воплощённое в шахматной задаче, соотносится Набоковым с временем, означенным на часах, – как озеро и ручеёк: "Мои часы – ручеёк времени по сравнению с оледенелым его озером на доске – показывали половину третьего утра" (4, 292). В таком "одомашненном" варианте представлен у Набокова грандиозный державинско-тютчевский сюжет о "реке времён", которая пожрётся "вечности жерлом" и сольётся с "бездной роковой". При этом вариант Набокова не менее философичен, если представить, что на глади этого оледенелого озера разыгрывается шахматная новелла – "белые начинают и дают мат в два хода". Может быть, часы (как созданная человеком вещь) потому так важны для Набокова, что позволяют **увидеть** время (в прямом и переносных смыслах), ведь сказал же он: "однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда" (4, 302).



«Пальма в Сибири не водится...»

Поэтика первой фразы

И А. КАРГАШИН.

кандидат филологических наук

Так, но с чего же начать, какими словами?

Саша Соколов. "Школа для дураков"

С чего начать, "какими словами" – вопрос для писателя далеко не праздный. Значимость первой фразы в художественном произведении обусловлена самой природой словесного творчества. Развитое эстетическое сознание читателя отвергает "упаковочный материал" (Л.В. Щерба) в составе художественного целого и настроено на содержательность всех его уровней – от звуковой организации текста до выбора имени героя или заголовка. И если любой элемент художественного текста, должен быть, по словам В.В. Виноградова, "опрокинут в содержание", то совершенно очевидна семантическая и эмоциональная нагруженность зачина, первой фразы.

Только неискущённому читателю кажется, будто писатель волен начать своё произведение "как угодно" – ну, например, так: "Он поёт по утрам в клозете" ("Зависть" Ю. Олеши). На самом же деле начало определяется "поэтикой Целого" – художественным заданием автора. Поэтому даже самая необычная и причудливая начальная фраза оказывается функциональной, так или иначе заданной – "преднаходимой"!

Наиболее очевидные случаи подобной заданности – это, конечно, "жанровая" форма начала. Вспомним "жили-были" русской сказки и соответствующие канону начальные фразы стилизаций народного слова. Например, в цикле "Русские женщины" у А. Ремизова: "Жил-был старик со старухой и внучат двое: внук да внучка" ("Жалостная"); "Жила-была одна девица, умер у ней отец, умерла и мать" ("Робкая"); "Жил-был один человек богатый и было у него двое детей: сын да дочь" ("Оклеветанная"). Ср.: "Жила-была баба, Ксенией звали" (И. Бабель. "Сказка про бабу"); "У Студёного моря, в богатой Двинской

земле, жили два друга юных, два брата названных, Кирик да Олеша" (Б. Шергин. "Любовь сильнее смерти") и т.п.

Обычно устойчивые типы начальных фраз обусловлены эпической природой повествовательных жанров, то есть **рассказыванием** о каких-то событиях. Весьма характерны для художественной прозы зачины, воссоздающие саму ситуацию рассказывания – "беседы со слушателями". Классический образец такого начала – гоголевские произведения. См. в "Вечерах на хуторе близ Диканьки": "Так вы хотите, чтобы я вам ещё рассказал про деда?" ("Прошедшая грамота"); "Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя!" ("Заколдованное место"). Ср. у С. Писахова: "Послушай, кака оказия с Перепилихой приключилась" ("Пирог с зубаткой"). Ср. доведение этого приёма до необходимого минимума у С. Довлатова: "В нашем районе произошла такая история" ("Иностранка") и у Евг. Попова: "Буду рассказывать, как помер наш завхоз" ("Обстоятельства смерти Андрея Степановича").

Другим типичным случаем повествовательного начала является фраза-формулировка, постулирование какого-либо "тезиса", подтверждением или опровержением которого и становится произведение. Подобные зачины плодотворно "работают" как в малых, так и в больших повествовательных формах, как в юмористических, так и в "серьёзных" жанрах. Например, у Н.С. Лескова: «У нас многие думают, что "художники" – это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников» ("Тупейный художник"; см. у него же первые фразы в произведениях "Неразменный рубль", "Леди Макбет Мценского уезда"). Ср. у М. Зощенко: "И какой такой чудак сказал, что в Питере жить плохо?" ("Лялька Пятьдесят"); "Некоторые думают, что оправдомом быть – пустое дело" ("Весёлая масленица"); "Любит русский человек побранить собственное отечество" ("Европа"). Наконец, типично "довлатовское", по лапидарности и безапелляционности, утверждение: "В Грузии – лучше" ("Блюз для Натэллы").

Нередко подобные "сентенции" становятся выражением действительно глубокой мысли, приобретают подлинно афористическую форму. Вспомним начало буинского рассказа "Сны Чанга" ("Не всё ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле"), в современной прозе – зачин романа Фазиля Искандера "Человек и его окрестности": "Юмор – последняя реальность оптимизма". Не удивительно, что первая фраза иногда "перерастает" рамки своего конкретного (в этом тексте) бытования. Пожалуй, самый знаменитый пример – начало "Анны Карениной" (подряд две фразы, ставшие "крылатыми"!): "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Всё смешалось в доме Облонских".

Традиционным же зачином оказывается фраза, обозначающая время, место, а нередко и суть описываемых событий. Яркий пример подобного начала, сразу помещающего читателя в "мир героев" – романы Тургенева. См.: «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцова, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека» ("Накануне"); «10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною "Conversation" толпилось множество народа» ("Дым"; ср. также начало романов "Отцы и дети", "Новь"). Подобная "хронотопическая" точность вообще отличает тексты "классического реализма", претендующие на точность и "адекватность" изображения (ср. начало "Обломова" у И.А. Гончарова, "Преступления и наказания" у Ф.М. Достоевского и т.п.). Показательно в этой связи пародирование реалистического хронотопа у "постмодерниста" Саши Соколова: "Месяц ясен, за числами не уследишь, год нынешний" ("Между собакой и волком") – подробная фиксация "точного времени" происходящего (месяц – число – год) обрачивается манифестацией абсолютной неопределенности, не говоря уже о каламбуре "месяц ясен", вдруг вызывающем в памяти знаменитое "мартобря" или "досвишвецию" в "Поединке" А.И. Kupрина.

В малой повествовательной форме – с лёгкой руки Пушкина! (см. в "Выстреле": "Мы стояли в местечке***"; ср. позже в рассказе "Афонька Бида" И. Бабеля: "Мы дрались под Лешнювом") "стартовая фраза" нередко сразу "завязывает" действие. Например, начало повести "Хозяйка" Ф.М. Достоевского: "Ордынов решил наконец переменить квартиру". Ср. у М. Зоценко: "Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он старостину лошадь купчику уторговывал" ("Гришка Жиган"); "Кустарь Илья Иваныч Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом" ("Богатая жизнь"). Или даже так: "На санитарной линейке умирает Шевелёв, полковой командир" (И. Бабель. "Вдова"). В рассказах же В. Шукшина первая фраза либо становится полноценной завязкой ("Всё началось с того, что Моря Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель – невозможен" – рассказ "Упорный"; "Кузнец Филипп Наседкин – спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик – вдруг запил – "Залётный"; "По воскресеньям наваливалась особенная тоска – "Верую!"), либо, проявляя своеобразную "композиционную экспансию", концентрирует в себе всю фабулу произведения. Например: "Всю неделю Макар Жеребцов ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению" ("Непротивленец Макар Жеребцов"); "Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился" ("Привет Сивому!").

Последние примеры, кстати, обнаруживают важнейшее свойство

собственно **эпического** освоения мира – несовпадение времени рассказывания о событиях и времени их свершения. Повествуется о прошедшем – уже свершившемся, так что для автора всегда существует возможность "предугадать" излагаемое. Поэтому первая фраза нередко содержит намёк на ход развития последующих событий:

"Евгения Иртенева ожидала блестящая карьера" (Л.Н. Толстой. "Дьявол"); "Погода вначале была хорошая, тихая" (А.П. Чехов. "Студент"); "Начинается эта ужасная история весело, просто и гладко" (И.А. Бунин. "История с чемоданом"). См. в современной прозе: "С течением времени все его мечты могли исполниться, и он мог бы соединиться с любимой женщиной, но путь его был долог и ни к чему не привёл" (Л. Петрушевская. "Я люблю тебя"); "История гвардейского офицера Николая Ивановича Симиныкова, которую я сейчас намерен рассказать, в своё время вряд ли имела какой-либо резонанс в высших кругах кадровой элиты ракетных войск, однако сейчас, по прошествии лет, представляется мне весьма поучительной и печальной" (А. Гаврилов. "История майора Симиныкова").

Как хорошая увертюра, счастливо найденная первая фраза (уподоблял же А.А. Потебня отдельное слово художественному произведению!) уже содержит в себе "всё" – не только жанровую установку или общий тон ("пафос") произведения, но и принципы поэтики – идиостиль автора. Скажем, поэтику русской сентиментальной повести можно было бы изучать по первоначальной фразе "Ростовского озера" (1795) Владимира Васильевича Измайлова: «В один из тех нежных часов, когда шум дня теряется в тишине ночи и животворная прохлада воздуха вливает чувство в самые мрачные души, когда милый бог сердец в весении весеннего ветерка нащёптывает тайну любви всем чувствительным существам, манит их парами на сладострастную мураву и устилает её миртовыми и маковыми цветами; когда травки и цветочки, ручейки и роицы, птицы и насекомые, и всё, что ни есть в творении, в один тихий голос говорит: "Нежные сердца, любите!" – в один из тех неизреченно приятных майских часов прогуливался я по берегу Ростовского озера и, так сказать, окружал себя оными улыбающимися картинами счастья, оными сладостными мечтами воображения, которыми любим мы питать себя на заре жизни». А, например, творчество Андрея Платонова, его устремлённость к поиску "вещества существования", выражено уже в первом предложении рассказа "Афродита": «"Жива ли была его Афродита?" – с этим сомнением и этой надеждой Назар Фомин обращался теперь уже не к людям и учреждениям – они ему ответили, что нет нигде следа его Афродиты, – но к природе, к небу, к звёздам и горизонту и к мёртвым предметам».

Именно "программный характер" делает зачастую начальную фразу "визитной карточкой" писателя, возвещая рождение небывалого героя или новой темы. Так, современный литературовед (Чудакова М.О. Сквозь звёзды к терниям // Новый мир. 1990. № 4. С. 243) пишет о новом – реальном герое из народа, жизненная правда которого захватила читателя буквально с первой фразы: "В пять часов утра, как всегда, пробило подъём – молотком об рельс у штабного барака" (А.И. Солженицын. "Один день Ивана Денисовича"). А участники литературных встреч "серапионов" не раз с восхищением цитировали: "Пальма в Сибири не водится..." (начало первого предложения в рассказе "Глиняная шуба"), вспоминая ошеломительный успех ранней – "цветной" прозы Вс. Иванова.

Всякого рода парадоксальные, порой экзотические и намеренно эпатирующие читателя зачины – тоже не редкость для русской прозы. Ограничимся несколькими примерами:

"Победа! победа! читали вы бюллетень? важная победа! историческая победа! особенно отличились картечь и разрывные бомбы; десять тысяч убитых; вдвое против того отнесено на перевязку; рук и ног груды; взяты пушки с бою; привезены знамёна, обрызганные кровью и мозгом; на иных отпечатались кровавые руки" ("Бал" В.Ф. Одоевского); " – Именем его Императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!" ("Красный цветок" В.М. Гаршина); " – Через два месяца я буду убит! На прусский лоб! Ура! Урра!" – крикнул прапорщик, размахивая шашкой" ("Перед войной" В. Хлебникова); "Аполлон Аполлонович Аблоухов был весьма почтенного рода: он имел своим предком Адама" ("Петербург" А. Белого); "Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шёпотом" ("Приглашение на казнь" В. Набокова); "Электричество горело в трёх паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе" (Л. Добычин. "Козлова"); "Фома Пухов не одарён чувствительностью: он на гробе жены варёную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки" (А. Платонов. "Сокровенный человек"). Пожалуй, подобные примеры ярче всего демонстрируют именно "заданность-преднаходимость" повествовательного зачина. Самая "смачная" и "самоценная" фраза обнаруживает в конечном счёте свою спаянность с целостной структурой художественного текста. Так, уже упоминавшееся знаменитое начало "Зависти" Ю. Олеши, задирая читателя, одновременно точно било в цель, схватывая главное в характере героя – его "физиологический оптимизм" (выражение В. Набокова). У самого же Набокова первая фраза "Приглашения на казнь", переключаясь с оксюморонном заголовка, подчёркивает освещённую правилами – "законенную" абсурдность мира. А, скажем, начало "Петербурга", помимо заявленной "с ходу" авторской иронии р,

адрес героя, поражает искусно выстроенной эвфонией (Ап... Ап... Аб... Ад...), вводя принцип изопрённого орнаментированного речсведения.

С другой стороны, самое "нейтральное" начало оказывается вдруг удивительно ёмким, рождая ту самую "бездну мыслей" (Н.В. Гоголь), без которой подлинная художественная проза невозможна. Хрестоматийный пример – "Пиковая дама". Как известно, Пушкин заменил черновой вариант начальной фразы ("Года четыре тому назад собралось нас в Петербурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами") на классическое: "Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова". Обусловленная синтаксической конструкцией неопределённость / многозначность (*мы* или *они* играли?) первой фразы пушкинского шедевра формировала оригинальный, чрезвычайно плодотворный для художественной прозы принцип субъектной организации текста – рождала гибкие и динамичные связи повествователя с миром героев (см.: Виноградов В.В. Стиль "Пиковой дамы" // О языке художественной прозы. М., 1980. С. 203–205). Тем самым открытие Пушкина узаконивало приёмы "нарративной игры" – неотъемлемой части повествовательной культуры отечественной прозы от Гоголя до Набокова (см.: Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996. С. 216, 382).

Конечно же, одна из "сверхзадач" зачина – схватывание психологической доминанты в облике главного героя. А.В. Чичерин говорил даже о "ритме образа" героя в первой строке: «Начиная свой роман "Подросток" заанapestной формой отрицаемого деепричастия "Не утерпев...", Достоевский с первой строки, словно по камертону, устанавливает исходный ритм основного образа этого романа...» (Чичерин А.В. Ритм образа. М., 1973. С. 205; ср. подобный же анализ начала "Кроткой" в кн.: Гиришман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. М., 1991. С. 120). Первая фраза уже "предугадывает" характер героя (разумеется, не только "ритмическим ходом" повествования). Вспомним начало чеховского рассказа, воссоздающее сознание главного персонажа – гробовщика: "Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нём почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно" ("Скрипка Ротшильда"). Прямая авторская характеристика героя звучит в упоминавшемся зачине платоновского "Сокровенного человека", а в рассказе Л. Добычина "Лекпом" как будто бы "объективное" начало ("Человек сошёл с поезда, вытащил зеркальце и огляделся») оказывается приговором самовлюблённой пошлости "помощника лекаря", который, как подчёркивает автор далее, "заливался... и сам же заслушивался". Подобная "лукавая объективность", кстати, отчётливо видна в "Душечке" Чехова, в первой фразе рассказа: "Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крыльчке, задумавшись", ибо далее

читатель неоднократно сталкивается с "мыслями" и "собственными мнениями" Ольги Семёновны ("Островом называется часть суши..." и т.п.).

Не менее выразительные зачины встречаем и в новейшей литературе. Е.А. Смирнова, анализируя поэму Вен. Ерофеева, недаром вспоминает об отрадном чувстве, вызванном в своё время знакомством с "шедевром ошеломительной фантазии и остроумия" (Русская литература. 1990. № 3. С. 58). Самое начало поэмы "Москва – Петушки" уже давало на то основания: "Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышу про него, а сам ни разу не видел". Лаколично и характерологически точно начинается повесть М. Кураева, воссоздающая "устные мемуары" сентиментального палача сталинских времён: "Я белые ночи до ужаса люблю..." ("Ночной дозор"; автор, подчёркивая значимость первой фразы, выделяет её в отдельную главу!). Наконец, максимально концентрирует "содержательную энергию" зачина (почти достигая границ автопародии) Ю. Мамлеев: "Однажды летним хохотливым днём я вышел на улицу, раздираемый, как всегда, двумя противоположными, но обычными для меня аффектами: сексуальным бредом и желанием выпить" (рассказ "Крыса").

Кстати, интересно отметить предельную "сгущённость" первой фразы в литературных пародиях. Это и понятно: пародия, делая объектом изображения собственно поэтику какого-либо автора, не может пройти мимо "ударного" характера зачина. Кажется, что иногда такой первой фразе позавидовал бы сам пародируемый. Вот, например, начало пародии А. Флита на Вяч. Шишкова: "Сиволапый бородатина рыгнул с перепою истовым шестикратным сибирским рыгом и, навалившись тугим купецким пузом на стол, ловко поддел железным пудовым хватом бадью с пельменями" (Вопросы литературы. 1982. № 5. С. 270).

Как видим, роль первой фразы трудно переоценить. По значимости её можно сравнить, пожалуй, лишь ... с последней фразой произведения. Начал же В. Набоков рассказ "Круг" со слов: "Во-вторых: потому что в нём разыгралась бешеная тоска по России", тем самым предопределив и его заключительную фразу: "Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда". В самом деле, сколько потерял бы, например, роман того же Набокова без заключительного: "Но никакого Александра Ивановича не было" ("Защита Лужина"). Невозможно представить себе и гоголевскую повесть без завершающего: " – Скучно на этом свете, господа!" ("Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем") или, например, рассказ Шукшина "Миль пардон, мадам!" без пронзительной финальной строчки: "А стрелок он был правды редкий".

ГОВОРЯТ ПО РАДИО И С ТЕЛЕЭКРАНА*

Звучит твердо или мягко?

О.А. ЛАПТЕВА,

доктор филологических наук

Это, конечно, о согласном. Речь пойдет о выборе его твердого или мягкого варианта в позиции перед *e*. Эти варианты существуют только в словах иностранного происхождения, потому что в исконно русских словах согласный перед *e* не произносится твердо.

Начиная с петровских времен в русском языке все прибывало заимствованных слов, и многие из них содержали согласный + *e*. Они приходили из разных европейских языков в непрекращающемся до нашего времени (а сейчас и усиливающимся) потоке обозначений "ненаших" реалий, узнаваемых и принимаемых вместе с западными культурными, эстетико-философскими, техническими ценностями и идеями (сейчас – техническими, экономическими, финансовыми, торговыми и относящимися к поп-искусству). Их национальные источники сменяли друг друга во времени (сейчас в русский литературный язык рвутся английские слова), но такое чередование "языков-доноров" не ослабляло проблемы передачи согласного перед *e* как твердого или мягкого. И того, войдет ли слово в литературный язык и останется ли в нем.

Займствованные слова в русском литературном языке ждала двоякая судьба. Многие из них бесследно исчезали из него, как только обозначаемые ими реалии утрачивали свою актуальность или проходила языковая мода на них. Другие же оставались в нем навсегда или надолго, приобретая русские морфологические и фонетические признаки. Кто сейчас помнит, что *тарелка* пришла к нам из немецкого, а *котлета* из французского и что уже в русском они приобрели парадигму склонения женского рода? При этом слово *тарелка* явилось плодом фонетической метатезы (перестановки звуков, ср.: *талер*), приобрело русский суффикс и мягкое *p'* перед *e*, а *котлета* вошло в систему русского аканья. Подобных заимствований в русском литературном языке много.

А что же с теми "заграничными" словами, которые появились недавно и продолжают приходиться сейчас, нередко бесцеремонно вытесняя русские эквиваленты? Это происходит так стремительно, что многих из них еще нет в нормативных словарях русского литературного языка.

* Продолжение цикла. См.: Русская речь. 1997. №№ 4, 5.

Кодификаторская работа лингвистов не успевает за ними. Первоначально возникнув как термины в письменном варианте, где произношение несущественно, многие из них хлынули на газетные страницы (это требовало от читателя хотя бы внутреннего озвучивания поначалу незнакомого слова), а затем и в устный обиход. Произношение заимствовалося говорящими друг у друга, поэтому мог количественно возобладать любой вариант, в целом же возник не поддающийся объяснению разнобой.

Складывающаяся узуальная норма не имеет ясных очертаний. Она сильно отходит от нормативных орфоэпических требований и рекомендаций. Кроме того, она вынуждена перерабатывать и осваивать множество вновь входящих слов. Это означает расшатывание кодифицированной нормы и наступление еще не устоявшейся, бурлящей узуальной нормы. Надо сказать, что и сама кодифицированная норма несла в себе импульс своего отрицания, так как демонстрировала слишком большое, переходящее критическую черту число двойственных возможностей. Когда из-за обстоятельств общественной жизни какое-либо слово вдруг резко повышает свою употребительность, возможны два следствия: 1) возобладает какой-либо один – мягкий или твердый – произносительный вариант в условиях, когда норма допускает оба; 2) усилится разнобой, то есть нормативные рекомендации мягкого или твердого согласного спугаются. Все это происходит на фоне лавинообразного наступления новых слов. В таких условиях кодифицированной норме грозит реальная опасность изменения статуса – из общелитературной стать индикатором принадлежности говорящего к старому интеллигентскому кругу (старому не по возрасту, естественно, что демонстрирует, например, своим произношением ведущая программы "Сегодня" Татьяна Миткова).

Предпочтение твердого или мягкого варианта носит явственно выраженный лексикализованный характер. Употребление (узус) несет от человека к человеку именно слово. Другие языковые параметры – например, какой именно согласный находится перед *e*, словообразовательная модель, принадлежность к сходным по звуковому составу корням и даже к одному корню (в русском языке или в языке-источнике) – все это тоже служит предпочтению варианта. Современная неупорядоченность взаимодействия твердого и мягкого вариантов произношения согласного граничит с хаотическим состоянием. Как это всегда бывает в языке, такое положение неминуемо окажется временным, переходной стадией к новой норме. Сейчас степень энтропии (неопределенности) этого участка фонетической системы высока, следующим этапом станет ее понижение. Но изменения должны охватить не весь корпус слов с рассматриваемым сочетанием, а только самые употребительные из них. Происходит это так.

1. Расширение сферы вариативности в речевом обиходе

Яркая тенденция наших дней состоит в том, что стремление кодифицированной нормы сократить область вариативности согласного перед *e* встречается с обратным стремлением узуальной нормы расширить круг слов с мягким согласным и тем самым ввести их в сферу действия законов русской фонетики. В 30-е годы наблюдалась противоположная тенденция: уже обрусевшие и широко употреблявшиеся слова в речи недавно приобшившихся к литературному языку людей приобретали твердый согласный, который таким образом становился признаком претенциозной манерности мещанской и вообще низкой речи (например, ставшие притчей во языцех *фан[э]ра*, *шин[э]ль*, *пион[э]р*, которые превратились в индикаторы такой речи, даже ценой отступления от иноязычного оригинала с иным произношением, как франц. *pioancier*). Видимо, отталкиваясь от этой опасности, современная орфоэпическая норма (Орфоэпический словарь. 1989 г.) часто предупреждает: неправильно *тэ!* (или *рэ*, или *дэ*).

Тэ или т'е?

Постоянно, увы, звучащие сейчас *террор*, *терроризм*, *теракт* предстают **в обоих вариантах**, в согласии с кодифицированной нормой: "Т[э]ррорист оставил след в кровавой истории XX века" (Сегодня. Мих. Осокин); "На юге России проводится следствие о совершенном накануне т[э]ракте" (он же); "Говорили о т[э]ррористах, об угрозе новых т[э]рактов" (он же). Сергей Филатов на пресс-конференции произносил т[э]ррор. Те, кто выбирает твердый вариант, вольно или невольно придают речи оттенок гиперинтеллигентности, позволяющей сохранить связь с фонетикой оригинала.

С мягким согласным эти слова звучат у Арины Шараповой, Светланы Сорокиной, Татьяны Митковой, Евгения Киселева и у многих корреспондентов, ведущих, обозревателей. Вот характерный пример: "Соединенные Штаты отказываются иметь дело с Ираном, считая его пособником [т'и]рроризма"; "Сотрудники МВД и ФСБ изучают подробности взрыва. И те и другие полностью исключают возможность т'еракта" (Герой дня. Евг. Киселев). Иногда оба варианта употребляются одновременно. У Арины Шараповой, например, звучит [т'е]ррор, но т[э]ррористический акт. "– А почему именно сегодня т[э]рроризм, скажите пожалуйста? – Ну почему т'ерроризм – совершенно ясно" (Радио России). Мягкость согласного может сочетаться с московским иканьем, как у Евгения Киселева и у Татьяны Митковой, что усиливает эффект мягкости, "русскости" и задушевной простоты.

Компьютер сопровождает нас на каждом шагу, даже если в нашем доме его нет. И все чаще и чаще в произношении слышится мягкий согласный, хотя Орфоэпический словарь рекомендует *тэ* (твердый).

Молодые говорят обычно *компьют'ер*, *компьют'ерный*. Забавно было слушать диалог по Радио России ведущего и 23-летнего специалиста по компьютерным играм: на протяжении всей беседы первый в этом слове неизменно произносил твердый, второй – мягкий согласный. Некоторые ведущие следуют "молодой" узуальной норме: «комп'ют'ерная корпорация "Галактика"» (ТВЦ. Деловая Москва. Ел. Шемет). Эдвард Радзинский, рассказывая в концертной студии "Останкино" о результатах заседания комиссии по идентификации и захоронению останков членов царской семьи, произнес это слово с твердым согласным, в "облагороженном" варианте: "Было сделано *компьют[э]рное* совмещение". Так же прозвучало это слово в устах Павла Лобкова (НТВ): "Через *компьют[э]рную* сеть они включаются в мировые технологические процессы".

Среди слов с *те* много таких, где норма – должно быть *тэ* – предписывает один из вариантов, но часто звучат оба: "Было очевидно: реформа задыхается, теряет *т'емп*" (ОРГ. Время); "...ибо взяточничество является *лат[э]нтной* преступностью" (Вести. Выступление в Думе В. Илюхина); "Сегодня у вас в гостях *Бут'ерброд* Бут'ербродович Колбаскин" (РР. Детская передача); "Торговцы предлагали товары, так или иначе связанные со знаменитым *д'ет'ективом*" (РР. Русская служба Би-би-си. Корр. Надежда Чернова с праздника Шерлока Холмса из Англии); "Я пою *т'енором*" (Орфей. Говорит певец); "Короля приветствовали три знаменитых *т[э]нора*" (НТВ. Марианна Максимовская); "– *Мист[э]р* Коллинз, вы должны жениться!" (Фильм "Гордость и предубеждение"; пер. с англ.); "Сегодня у нас нет сопоставимой *альт'ернативы*" (НТВ. Выступление В.С. Черномырдина). Часто звучит *прот'екция*, *т'енд'енция*, *т'езисы*, *инт'ер-*, *т'ермос*, однако – не *инт'ервью*. А вот забавный случай с ощущаемым оттенком иронии: "Мы рады, что в нашем *альма-мат'ере* родился Любимов" (М. Ульянов на юбилейном вечере Ю. Любимова).

Должно быть т'е

"Это, безусловно, точный *т[э]рмин*" (Герой дня. Борис Березовский); "И долго гадали, почему борт укатили за полтора километра от *т'ерминала*" (Сегодня вечером. Корр. Это слово, появившись совсем недавно, бьется только в **мягком варианте**); "*пат[э]нт*" (ТВЦ); "Разрешение царским *лит[э]рным* поездам следовать в ставку" (А.И. Солженицын читает "Красное колесо"); "*унт[э]ры*; *унт[э]р-офицеры*" (он же); "Она реагирует на некоторые слова слов *конт[э]кта*" (Вести. Интервью Егора Гайдара. Иногда в этом слове ради интеллигентности даже избегают аканья); "фунгов *ст'ерлингов*"; "Золотой пат'ефон. Каждое воскресенье на канале НТВ" (анонс); "*бухгалт[э]рия*" (Зер-

кало. В.С. Черномырдин; здесь **должно быть [т'е]**, а вот в *бижут[э]рия* норма предусматривает **твердость**, что и соблюдает Оксана Полонская); "*инт'еллект, инт'еллектуальный*"; военные из *инт[э]ндантства*" (Зеркало. Корр); "Летом обычно на берегу моря проводят разные *дискот[э]ки*" (Межд. обозрение "Весь мир").

Вопреки норме некоторые говорят "*компет[э]нтное*" (Сегодня. Егор Гайдар); "Существует у каждого человека предел *компет[э]нции*" (Герой дня без галстука. Губернатор Санкт-Петербурга А. Яковлев). Такие слова, как *тема, техника, система, текстиль*, всегда – и согласно норме кодифицированной, и согласно норме узуальной – звучат **с мягким т'**, хотя в качестве манерного произношения можно услышать "т[э]кстиль". А вот *термин, не допускающее* согласно кодифицированной норме [тэ], приходится встречать и в таком неправильном звуковом облике, хотя *терминал* обычно звучит, как и положено **с мягким т'**!

Дэ или д'е?

В обоих вариантах, в согласии с кодифицированной нормой, произносится *федерация* и его производные: *фед'еративный закон, фед[э]ральное собрание, фед[э]рализм, фед[э]рация*: "директора *фед'ерального* бюро расследований США" (Герой дня. Евг. Киселев); "Его не спеша дорабатывают в *Фед[э]ральном* Собрании" (Время. Иг. Гмыза). В речевой практике представлены буквально все возможные варианты перестановок.

Слово *депеша* в соответствии с нормой должно произноситься **с мягким д'**; *депо* – **в двух вариантах**; *модель* – **только с твердым**; *адекватно*, несмотря на **запрет мягкого**, охватывается потоком смягчения: "То изобретение, которое было – госсекретарь, оно наиболее ад'екватно моему характеру" (Герой дня. Ген. Бурбулис); также можно услышать "лид[э]ры", несмотря на **запрет твердого**.

Кодекс не допускает мягкого д', но оно тем не менее употребляется наряду с твердым: "принятие бюджетного код'екса" (РР); "Уголовный код'екс" (Сегодня. Юрий Черниченко). По Радио России прошла беседа Г.А. Явлинского, ведущего и д.э.н. Улюкаева. Явлинский говорил "код'икс", Улюкаев и ведущий – "код[э]кс".

Очень продуктивная (французская по происхождению, изначально латинская) приставка *де* не торопится обрусеть, проявляя неустойчивость и колебания между твердым и мягким вариантами даже и в кодифицированной норме. Орфоэпический словарь это ее свойство отражает, показывая необъяснимую неодинаковость произношения разных слов. Из употребительных слов разве только *дефект* устойчиво демонстрирует мягкий [д'], остальные готовы показать два вариан-

та, даже и *демократ*, имеющее строгое предупреждение о **неправильности твердого д**: "Я не уверен, что в этой так называемой д[э]мократической стране мне дадут свободно говорить: (Итоги. А.И. Солженицын).

Несмотря на предостережение о **неправильности [дэ]** в *декорация* (а в *декор* оно должно быть (д[э]кор) – ну как тут не запутаться?), слышим: "Маленькая она, д[э]коративная, а отпускать жалко". Многие говорят *д'икорация*, *д'икоративный* в сочетании [д'] с гипертрофированным, даже несущим просторечный колорит, иканьем.

С мягким [д'] замечены почти все часто употребляющиеся слова с приставкой *де-*: "Вопрос о *д'емонопользации* промышленности России будет рассматриваться завтра" (Время); "подписание соглашения, согласно которому завершена *д'емаркация* восточного рубежа российско-китайской границы" (НТВ. В этом слове возможны оба варианта). **С мягким [д'] – декларация**. В словах *дезориентировать*, *девальвировать* и соответствующих существительных норма допускает **оба варианта** как равноправные, а вот в словах *дезавуировать*, *декаданс* – **только твердый**.

Мягкий, согласно норме, звучит в *д'эффект*, *д'эффективный*, *д'эффектология*; однако: *д[э]фекация*. Слово *дефект* и его производные, как и *дезертир*, часто совмещает мягкость согласного с иканьем, что усиливает эффект "своего" слова – вполне русского и обыденного.

Ставшее очень частым в употреблении слово *деноминация* звучит в обоих вариантах, хотя нормой предполагается **только твердый**: "проведение д'еноминации – простой, естественный путь" (ТВЦ); "Около двух миллионов нед'еноминированных рублей (РР); "предстоящую д[э]номинацию вы сохранили в тайне" (Время. Арина Шаропова).

С твердым *д* замечены: "Газета для д[э]классированных слоев общества" (Сегодня в полночь. Александр Герасимов. **[Дэ] допускается нормой**); "У коммунистов очень много шансов стать из конструктивной оппозиции *д[э]конструктивной*" (Сегодня. Интервью Александра Шохина; Словарь слово не включает); "Парализованный и *д[э]морализованный* скандалом (Время. **Варианты с твердым и мягким равноправны**); "*д[э]магогия*" (РР. **Твердый не рекомендуется**). Твердый *д* звучит и в специальных терминах, не являющихся общелитературными словами, например, в слове *д[э]архивизация* "вынимание медицинской карты из архива". А.И. Солженицын, верный своей склонности к твердому, произносит: "Опубликовали еще какую-то *д[э]кларацию* прав солдата".

В слове *девальвация* равные права имеют **оба варианта**: *дэ* и *д'е*, но в массовом употреблении чаще произносится *дэ*: "Ни сегодня, ни завтра, не в ночь, так сказать, на Новый год никакой *д[э]вальвации* ... не произойдет" (Сегодня днем. Пресс-конф. Сергея Дубинина); "Речь

ни в коем случае не идет о *д[э]вальвации* рубля" (Вести. Интервью В.С. Черномырдина).

Вся эта разноголосица в произношении *те* и *де* не дает возможности увидеть ясные и однонаправленные процессы нормативного развития. Можно лишь сказать, что в речевой практике расширяется вариативность. Тем не менее можно заметить две противоположно направленные тенденции. С одной стороны, мягкостью захватываются слова с нормативным твердым, которые тем самым фонетически русифицируются. С другой стороны, сохраняется тенденция претенциозного произнесения твердого, которая насчитывает уже много десятков лет и началась еще в царское время. Она не убергает, а, наоборот, подталкивает слова к социально непрестижному осознанию, что не раз осмеивалось, в том числе и журналистами: "Ты будешь в милиции работать. Я тебя назначу этим... *милиционэром*" (Известия. 1997. 2 апр.); "Кто-то сочинил про этот город не по-русски звучащие фразы, перенес этот красивейший курорт в ту унылую сырую местность, где *пионэры* укладывают *рэльсы* и едят *сосиськи*" (Моск. комс. 1993. 19 окт. О городе Монтрё). Авторы таким написанием слов обозначили и низкое происхождение, и языковые привычки людей, и свое неприятие этого явления.

Итак, расширяется вариативность. Причем – без нарушения нормативных установлений. Пожалуй, это единственное звено фонетической нормы, которое столь безболезненно реагирует на неподчинение ей. Здесь происходит мощный прорыв нормы узусом. Лишь немногие давно "скомпрометировавшие" себя слова с твердым согласным вызывают общественное отторжение. В целом же лексикализации вариантов не наблюдается.

Хотя можно отметить некоторые словесные предпочтения. Они касаются тех случаев, где нормой допускаются **оба варианта**: "мыло от *бакт[э]рий*. *антибакт[э]риальность*" (реклама) – основной нормативный вариант с мягким, твердый допустим; "А в Грузии оппозиция формулирует свои новые *прет[э]нзии*" (Сегодня. Мих. Осокин) – основной нормативный вариант с мягким, твердый допустим; "Он организовал *лот[э]рею* (Эдв. Радзинский "Любовные сумасбродства Казановы"), но "*лот'ерея*" (РР) – основной вариант с твердым при допустимости мягкого. *Стратегия* при основном мягком варианте и допустимом твердом часто слышится с *тэ*; *терапевт* при равноценности вариантов все чаще слышится с мягким *т*; *пантера* при основном твердом и допустимом мягком обычно звучит с твердым. В этих и подобных словах предпочтительный узуальный вариант вытесняет предусмотренный нормой другой вариант и стремится стать основным и единственным.

Продолжение следует

Владеть и знать

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

Можно блистательно владеть языком и быть лингвистически не менее наивным, чем большинство носителей языка. Американский инженер-химик и лингвист Бенжамен Ли Уорф так сказал об этом: "Ученые-языковеды уже давно осознали, что способность бегло говорить на каком-либо языке еще совсем не означает лингвистического (т.е. языковедческого. – Э.Х.) знания этого языка, т.е. понимания его основных особенностей, его системы и происходящих в ней регулярных процессов. Точно так же способность играть на бильярде не подразумевает и не требует знания законов механики, действующих на бильярдном столе" (Наука и языкознание // Новое в лингвистике. I. М., 1960. С. 173). Задолго до Б. Уорфа светило отечественного языкознания, основатель Казанской и Петербургской языковедческих школ Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ тоже высказался на эту тему: "Знание и понимание языков отличается от владения ими более или менее настолько, насколько знание физиологических процессов отличается от их совершения (разумеется, что большое различие родов предметов обуславливает неточность этого сравнения)" (Некоторые общие замечания о языковедении и языке // И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963. С. 52).

К сожалению, наивные носители языка (т.е. люди, не имеющие языковедческой подготовки) не осознают, как правило, различия между *владеть* и *знать* и отважно берутся судить о том, о чем судить не готовы.

Позволю себе показать это на двух поучительных, по-моему, примерах.

Осенью 1964 года в еженедельнике "Литературная Россия" известный поэт поделился с читателями эпизодом из своей жизни: «Профессура может доказать все. Однажды на каком-то собрании группа наших крупнейших литературоведов рьяно утверждала, будто во времена Пушкина даже дворяне говорили куды. Я позволил себе бросить реплику: "Теперь мне понятно, почему Ленский писал: "Куды, куды вы удалились". Гомерический хохот всего зала был не последним участием этого собеседования».

Поэт, кстати, и сам был профессором Литературного института. *Доказывать* и *доказывать* – не одно и то же. Судя по реплике, профессура в данном случае не доказала поэту и залу. Наверное, в обидном для "профессуры" зачине статьи должен был быть использован глагол несовершенного вида – *доказывать*.

Остроумна была реплика поэта. Но она неспособна опровергнуть сказанное учеными. Во-первых, дворяне XVIII и начала XIX века были разные. Одни жили в столицах, в губернских городах, другие – безвылазно в своих поместьях. Профессор Е.Д. Поливанов писал: "В XVIII веке дворяне, в доминирующем большинстве случаев, сидели у себя в деревне и говорили на местных диалектах..." (За марксистское языкознание. М., 1931. С. 146). Были и неграмотные дворяне. Вспомните фонвизинскую Простакову. Такие говорили тем же языком, что и их дворня. Во-вторых, нельзя подходить к языковым фактам двухсотлетней давности с меркой норм сегодняшнего языка. Ведь то, что 200 или 150 лет назад было в живой речи образованных людей, могло совсем утратиться или остаться в просторечии или диалектах. А то, что было тогда, как выражались в ту пору, простонародным, могло стать фактом литературного языка (например, *парень*, *чепуха*).

Екатерина II пишет матери своего фаворита Ланского: "Ульяна Яковлевна! Вчерась, к крайнему моему прискорбию, Александр Дмитриевич скончался". У Бестужева-Марлинского, современника Пушкина, читаем: "...он вошел в залу и громко сказал Валериану – Господин майор! ...очень сожалею о том, что вчерась произошло между нами...". Это говорит князь, аристократ.

Екатерина II пишет фавориту Валериану Зубову, ушедшему в персидский поход: "Нимало не сумлеваюсь в твоём усердии". В начале пугачевского восстания сибирский губернатор извещает генерала Деклонга: "...конфедераты заарестованы". *Вчерась, сумлеваюсь, заарестованы* – ныне вне литературного языка.

Пушкин в "Евгении Онегине": "В постелю с бала едет он". В языке тогда сосуществовали *постель* и *постеля*. Пушкин в "Моей родословной": "Не торговал мой дед блинами, Не ваксил царских сапогов". А почти за полвека до этого дворянин и надворный советник (чин VII класса по Табели о рангах, равный подполковнику) доносил из Челябинска около пугачевщины: "...денежной казны... ныне в Челябинске около пятидесяти тысяч рублёв". *Сапогов, рублёв* никого не смущали.

Наш современник известный историк удивляется, что в официальных документах XVIII века одного бунтовщика называли "славным разбойником". Но удивляться-то нечему: *славный* тогда и много позже (еще и во времена Пушкина) – "известный, пользующийся доброй или

худой славой". Позже значение этого слова сузилось, теперь это только "пользующийся доброй славой, известный добрыми делами, прекрасными поступками" (Ср. историю слов *замечательный*, *рухлядь*).

"Не в мадаме сила", – говорит сановный грибоедовский Фамусов. *Мадам* давно уже не склоняется. У Фамусова же: *вдругорядь*, *испужал*. Это все факты тогдашнего просторечия, которых нет уже в сегодняшнем.

Мать Петра Киреевского в декабре 1846 года сообщает в письме, что больна, а потому: "И маленькую страничку мне тяжело навараксать". *Навараксать* – "написать, нарисовать; сшить, сделать весьма плохо, дурно", как толкует Владимир Иванович Даль. В ушаковском словаре, в семнадцатитомном академическом – этого слова нет. Оно было просторечным и осталось им.

Однако вернемся к *куды*. В лирическом стихотворении Гавриила Державина "Ласточка" читаем:

...Ты часто во зеркале водном
Под рдяной играешь зарей,
На зыбком лазуре бездонном
Тенью мелькаешь твоей.
Ты часто, как молния, решишь
Мгновенно туды и сюды,
Сама за собой не успеешь
Невидимы видеть следы...

Это 90-е годы XVIII столетия. Попутно обратим внимание на мужской род слова *лазурь* (то же было и со словом *степень*) и на рифму *зарей – твоей*. Гоголевский Чичиков в гостях у Собакевича: "Вишь, куды метит, подлец!" – подумал Чичиков". О Чичикове Гоголь сказал: "Родители были дворяне".

В одном из вариантов главы второго тома "Мертвых душ" дворянин Хлобуев разговаривает с "миллионщиком" Муразовым:

– ...о себе нечего уже думать, карьер мой кончен, я уже никуды не гожусь.

– А почему же вы никуды не годитесь?

– Да куды же мне? Сами посудите...

Не в XVIII веке и не Простакова, а образованная помещица Е.И. Елагина – жена сводного брата Киреевских – пишет Ивану Аксакову 23 января 1857 г.: "Завтра ждем сюды Стаховича и Якушкина, который говорит, что теперь здоров, но между тем ужасно похудел, что ему очень к лицу" (цитирую по вступительной статье З.И. Власовой к "Собранию народных песен П.В. Киреевского". Л., 1983. С. 18). И в другом ее письме: "Получили ли письма Якушкина с просьбой поискать песен в доме Ивана Васильевича (Киреевского. – З.В.) у Красных ворот, куды перевезли книги Петра с его бывшей квартиры" (там же. С. 18–19).

Это не было еще и в середине XIX века сигналом необразованности. *Сюды, куды, туды* были в просторечии, которым широко пользовались не только обычные дворяне, но и аристократы. Пушкин свидетельствует:

В гостинной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.

Рассмешить несведущую аудиторию нетрудно. Куда труднее помочь ей увидеть то, что было на самом деле.

Не надо опрокидывать на прошлое языка его нынешнее состояние. К языку прошлого, как и к событиям и лицам времен минувших, нужен исторический подход. Он убережет от невольной модернизации, осовременивания не только сказанного давным-давно, но и самого облика говорившего и писавшего, его отношений с собеседником или адресатом.

Перейдем ко второму примеру суждений о языке, не обеспеченных фактами. Популярный писатель-юморист Михаил Задорнов писал: "В школьном учебнике русского языка написано, что существует несколько стилей языка... Я понимаю, что ученые могут защищать докторские диссертации на эти темы. Чем больше будет этих диссертаций, тем больше будет у нас официально считаться стилей. Но смешно думать, что, приходя на рынок, я должен говорить одним стилем, на работе – другим, дома – третьим, читать и думать – на четвертом...". Все это одобрила и напечатала редколлегия журнала "Огонёк" (1988. № 15) тогдашним огромным тиражом. М. Задорнову и согласной с ним редколлегии во главе с писателем Виталием Коротичем было "смешно думать". Видимо, они всерьез полагали, что этим фельетонным пассажем помогают улучшить учебник, избавить учителя и школьника от надуманных схем, от схоластических представлений о языке. Вряд ли за прошедшие с тех пор годы им и их единомышленникам стала менее смешна мысль о существовании стилей языка.

Ну что же, давайте поставим опыт, вспомнив мысль академика Л.В. Щербы (высказанную в статье, посвященной памяти его учителя И.А. Бодуэна де Куртенэ) об эксперименте в языкознании. В "Комсомольской правде" примерно в одно время с публикацией М. Задорнова был напечатан отрывок из речи Н.И. Бухарина, где, например, находим: "...бегая с портфельчиком под мышкой, болтать о союзе рабочего класса с крестьянством и, по сути, ни хрена не понимать в этом вопросе...". Может ли носитель современного русского литературного языка представить вот это *ни хрена* в дипломатической ноте, в письме одного учреждения другому, в научном тексте? Может ли он

вообразить себе употребление в инструкциях, наставлениях, уставах, договорах, научных работах таких, скажем, слов и выражений: *ой! ах! к черту, кому под хвост, портфельчик, детшишки, сыночек?* Напишут ли в словесном портрете находящегося в розыске преступника *глядялки зеленого цвета* или *очи карие?* Будет ли в приглашении на вернисаж, на представление книги или брифинг написано: *приглашаем на тусовку?*

Не знаю, как сейчас, а в пятидесятые годы в краеведческом музее Махачкалы (Дагестан) стояло чучело барса, а под ним пояснительная табличка: место этого вида в классификации животного мира, где он водится и т.д. А заканчивалось пояснение так: "Ужасный хищник". Вы наверняка улыбнулись. Уверен, что улыбнулся бы, а то и рассмеялся и М. Задорнов. А почему? А потому, что *ужасный* – эмоционально окрашенное слово. Оно не входит в лексику научного стиля. В конце пояснения должно было бы стоять иное сочетание слов: *опасный хищник*. И никто бы не улыбался: словосочетание не контрастировало бы с остальной частью текста. Разве не так?

Ответы на эти вопросы очевидны. И это доказательство объективности существования стилевых различий, стилевых норм. Функциональная стилистика как раздел науки о языке лишь с той или иной степенью точности отражает эти нормы.

Что такое функциональный стиль языка? Это отобранная и создаваемая носителями языка в длительной речевой практике (говорении и писании) объективно существующая совокупность таких языковых фактов (средств) – лексико-семантических, словообразовательных, морфологических, синтаксических – которая наилучшим образом способна обслуживать общение (коммуникацию) в той или иной сфере человеческой деятельности.

Функциональные стили есть только у литературного языка: просторечию и территориальным диалектам они неизвестны. И это стили именно языка, а не речи. В речи они вырабатываются и употребляются.

Убежден: прекрасно владеющий языком М. Задорнов просто сам не замечает, как при общении переходит с одного стиля на другой в зависимости от обстоятельств, от того, что называют речевой ситуацией.

В фельетоне был упомянут Пушкин. Так вот он, обращаясь к официальным лицам, следовал тогдашним нормам официально-делового стиля. Точно так же поступал Маяковский. И это не мешало их речевому новаторству в художественных, публицистических и эпистолярных текстах. Их речевое поведение контролировалось чувством соразмерности и сообразности.

Аппарат, аппаратчик...

А. В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Перед вами – одно из ключевых слов современного русского политического языка. На своем "веку" (кстати, не таком уж и долгом) оно испытало столько превращений, что по нему впору писать небольшую историю политического (общественного) устройства нашей страны в XX веке. Слово претерпевало различные семантические, словообразовательные и оценочные "взлеты и падения", которые определяли его то активизацию, то постепенное угасание в речевом обиходе и изменение отношения к нему со стороны современников.

История слова *аппарат* в русском языке начинается в XIX веке. По свидетельству Ю. С. Сорокина, вначале основная сфера его употребления – транспорт, техника и медицина (*пищеварительный аппарат, психологический аппарат*). Слово заимствовано из немецкого языка (*Apparat*), но первоисточник – латынь: *apparātus* – "приготовленный". В немецкий язык слово попало в XVII веке, однако значение "*Einzelgerät, Maschine* – прибор, машина" появилось у него только в XIX веке.

Один из первых случаев употребления слова *аппарат* в русском языке – в трудах историка В. Н. Татищева (начало XIX века). В словари оно попало впервые в 1835 г. с пометой "научн." Однако в разговорном языке научной интеллигенции (скорее всего врачей) это слово произносили с одним "п", в результате чего В. И. Даль (сам врач по профессии) посчитал форму "апарат" единственно правильной и поместил в свой Словарь именно в таком виде. Эта форма (с одним "п") дожила до первой трети XX века, и даже в Словаре Ушакова *аппарат* встречается в двух формах: "аппарат" и "апарат". Однако уже в Большом академическом словаре (1-е издание. Т. I, 1948 г.) *аппарат* закрепляется в таком написании и с тех пор колебаний в орфографии не испытывает. Разговорный произносительный вариант *апарат* закрепился в качестве единственно правильной орфографической нормы, например, в украинском и белорусском языках.

Вплоть до XX века слово *аппарат* употреблялось только в научно-техническом и медицинском языке; например, Даль толкует это слово так: "прибор, снаряд, орудие, устройство, приспособление", т. е. в значении, которое являлось новым и для немецкого *Apparat* и которое было заимствовано русским языком. Впрочем, это значение (только в более

четком, точном словарном определении) сохранилось до XX века: Словарь Ушакова на первом месте помещает именно "техническое" значение слова *аппарат*: "прибор для какой-нибудь работы"; на втором месте – "медицинское" значение: "совокупность органов для выполнения каких-нибудь отправлений организма"; на третьем – значение "политическое общественное": "учреждение или ряд учреждений для обслуживания какой-нибудь области государственного управления или хозяйства". Даже из этого краткого перечня видно, какую семантическую эволюцию претерпело это слово.

Нас же будет интересовать только его переносное значение в политическом лексиконе. Для этого нужно вернуться к первым этапам укоренения слова *аппарат* в русском языке. Уже во второй половине XX века намечилось его некоторое сближение со словом *механизм*, которое с середины прошлого века употребляется в таких сочетаниях, как *механизм общества, общественный механизм*. Именно отвлеченный характер смысла слова *механизм* для обозначения любого устройства (независимо от того, машина это или общественная жизнь) послужил семантической моделью и для слова *аппарат*. Кроме того, можно отметить также влияние сочетаний со словом *машина*, сложившихся в 20–30-е годы XIX века: *государственная, административная машина*. Научные и медицинские метафоры – вообще продуктивный способ семантического обогащения в современном русском языке.

Появление сочетаний типа *государственный, политический, военный, полицейский аппарат* относится лишь к рубежу XX века. Следовательно, слово *аппарат* вышло за рамки техники и медицины и приобрело переносное значение "совокупность органов управления", поддержанное словами близкой тематической сферы *механизм, машина*, ранее уже испытывавших метонимическое и метафорическое расширение значения.

Видимо, к этому времени можно отнести и первые ростки неодобрительного отношения к слову, возникшие в оппозиционных царскому правительству изданиях. В языке XIX века сочетаемость слова *аппарат* с относительными прилагательными типа *психологический, пищеварительный* едва ли могла вызвать появление оценочных элементов в этом слове. На первый взгляд кажется, что сочетаемость с новыми относительными прилагательными *полицейский, военный, государственный*, появившаяся в начале XX века, ничего не меняет в оценочном (прагматическом) потенциале слова. Однако очевидно, что в относительных прилагательных (в которых, как правило, оценочность является очень слабой или вообще отсутствует) все-таки можно различать разную степень ассоциативной окраски: в первых названных

прилагательных (*пищеварительный, психологический*) ее практически нет, во вторых она заключена уже в корнях прилагательных (*военный, полицейский*). Конечно, можно сказать, что слова *полиция, война, государство* не вызывают никаких ассоциаций или, по крайней мере, они нейтральные, однако также возможен (и будет даже более ожидаем) ответ: за этими словами стоят трудно формулируемые ассоциации, группируемые вокруг понятия "опасный, неприятный".

Именно сочетаемость слова *аппарат* с политическими терминами, почти всегда идеологически окрашенными, послужила базой для приобретения им отрицательных оценочных нюансов в языке революционной прессы. Однако роль этой прессы в дореволюционное время все-таки была невелика, в языке же официальных изданий слово *аппарат* не имело такого широкого хождения и такой ярко выраженной оценочности.

Можно сказать, что вторая жизнь слова *аппарат* началась после революции 1917 года, когда революционная пресса вышла на поверхность, стала легальной и внесла в языковое употребление свою сочетаемость слов, свою оценочность, свои языковые вкусы. Именно революционеры активизировали в общем употреблении выражение *аппарат насилия*, которым они обозначали государственные органы в царской России: армию, суд, полицию. На активность слова влияла и частотность его употребления Лениным.

Однако период негативного отношения к царскому (эксплуататорскому, правительственному, военному, судебному – оценочные определения можно продолжать) аппарату кончился, как только большевики столкнулись с проблемой создания своей государственной системы. Изменилась и оценочность слова *аппарат*. Потребовались новые определения, которые бы "сняли" старую негативную окраску с этого слова (*полицейский, военный аппарат; аппарат насилия* и под.) и "перевели" его в новую плоскость позитивного смысла. Теперь оно в большевистских изданиях встречается с прилагательными *советский, пролетарский, партийно-хозяйственный, местный* и пр. Понятно, что все эти прилагательные в большевистской прессе имели яркий положительный заряд, который перераспределял соотношение оценочности в слове.

Раньше (в предреволюционное время) целью большевистской прессы было создать негативные ассоциации у слова *аппарат* при помощи внедрения в его ассоциативную структуру элементов, идущих от прилагательных, называющих политические явления царской России; напротив, сейчас логический акцент был смещен в сторону таких прилагательных, которые раньше с этим словом не употреблялись: не просто "государственный аппарат", а "советский государственный аппарат".

Как видно, прибавление еще одного прилагательного – не просто формальность, а свидетельство сложной семантической и оценочной игры слова.

Как же ведет себя слово *аппарат* в конкретной речевой практике? Об активизации его в послереволюционные годы в политическом лексиконе писал А.М. Селищев. Формируется переносное значение "совокупность органов управления", и на его основе осуществляется метонимический перенос: "люди, работающие в этих органах". Вместе с семантическими процессами, происходящими в слове, начинается не только наполнение его позитивным, "советским" содержанием, но и стремительное распространение слова в языке, доказательством чему служит взрыв новых сочетаний с ним. Вот только несколько примеров: а. исполкома, партийный а., а. райкома партии, а. обкома, районный а., советский и партийный а., а. государства, управленческий а., а. ЦК КПСС, министерский а., снабженческий а., административно-управленческий а., а. главка и многие-многие другие. Так аппарат становится необходимым элементом системы управления.

Однако борьба с проникновением "врагов народа" в ряды аппарата с целью вредительства, столь характерная для 30-х годов, рождает новые ассоциации. Всего лишь один пример: "Драки впереди – жестокие. Поверхность литературная внешне тиха, но это обман зрения... Надо радикально оздоравливать среду, аппарат" (Вс. Вишневский. Записные книжки). Хотя эта цитата относится к деятельности аппарата Союза писателей, в ней отчетливо можно видеть отголоски чисток в "больших" аппаратах, их "радикального оздоровления", поскольку там затаились скрытые враги ("поверхность их тиха").

В 50–60-е годы такие ассоциации у этого слова уже исчезли, но в литературе на волне романтического демократизма стало формироваться представление об аппарате как о чем-то косном, замшелом. Человек, оказавшийся в аппарате, становится обезличенным, серым, невыразительным: "...Несмотря на обезличенность Евгения, он все же не превращен в некое условно-типовое обозначение, в нем сохранилось живое начало, которое за два года его службы еще не стерто омертвляющим чиновничьим аппаратом" (Д. Гранин. Два лика). Характерно противопоставление живой жизни и "омертвляющего аппарата".

Кстати, именно из этих представлений в конце 80-х годов возникает образ аппарата как консервативной силы, сдерживающей все новое, прогрессивное: "То, что мы имеем сейчас – практика платежей и отчислений предприятий в госбюджет – как нельзя лучше способствует господству командно-бюрократического аппарата, узурпации его власти" (Ленингр. рабочий. 1989. 29 сент.); «Создание правового государства в его истинном смысле предполагает отказ от многих привычных представлений, от "само собой разумеющегося". В частности, и от

руководства со стороны партийного аппарата и многих других "аппаратов"» (Ю. Феофанов. Третья власть).

В словообразовательном отношении слово *аппарат* в значении "совокупность учреждений, обеспечивающих управление" или "лица, работающие в этих учреждениях" образует производное слово *аппаратный*. Справедливости ради следует отметить еще авторский неологизм Маяковского – *аппаратов* с яркой негативной оценочностью: "А из трубы [радио] замогильный доклад, / Какая-то ведомственная чунь аппаратава" (Без ... ветрил). По законам русского словообразования от слова *аппарат* должно было быть образовано относительное прилагательное, однако Маяковский нарушает это правило и создаст слово с суффиксом *-ов* (со значением притяжательности). В результате рождается комический эффект.

Относительное прилагательное *аппаратный* появляется в языке в 20-е годы. В одних случаях в слове преобладает "чистая относительность" и нет негативных ассоциаций: "Смета и исполнение смет... должны стать не только средством аппаратной проверки хода строительства, но и в центре внимания рабочих масс и их организаций" (Правда. 1932. 28 апр); "В деле планирования научной проблематики аппаратная работа вообще непригодна, ибо нельзя в аппарате иметь ...научных работников, ведущих исследовательскую работу" (Социалистическая реконструкция и наука. 1933. С. 120). В других случаях в слове *аппаратный* преобладал оценочный элемент: "Нам удалось перестроить финансовую работу, удалось превратить ее из работы аппаратной, ведомственной в работу, построенную и ведущуюся силами огромного советского актива" (Известия ЦИК. 1931. 19 дек.); "До сих пор большинство добровольных обществ... работает зачастую аппаратными методами" (Известия ЦИК. 1930. 30 июня); "В работе многих партийных организаций шахт преобладают аллилуйщина, болтовня вместо упорной организации масс вокруг повседневных задач борьбы за план, аппаратная канитель и заседательская суетня вместо массовой работы" (Правда. 1932. 16 мая).

Очевидно, уже в 20-е годы слово *аппарат* вступает в ассоциативное соприкосновение со словами *ведомство*, *ведомственный*, от которых "заражается" присущими им негативными оценочными признаками "скрытый от глаз, происходящий без контроля". Однако в добавлении к этим "старым" ассоциациям, в слове *аппаратный* формируются еще и новые – "противопоставленный массовой работе, происходящий без участия масс". Эта новая ассоциация, возникшая в 30-е годы, закрепляется в ассоциативной структуре слова: «Он [инженер совнархоза] готовил вопрос о насущных проблемах машиностроения. Какие знакомые слова "готовить вопрос"! Так и видится аппаратный служака, тре-

бующий с мест цифр и фактов, как положительных, так и отрицательных» (Лит. газета. 1957. 3 дек.). Двойственность ассоциативного сцепления прилагательного *аппаратный* с существительными (положительная и/или отрицательная оценочность) также была связана с тем, что на аппаратную работу "выдвигали", т.е. попасть на работу в аппарат в общественном мнении считалось весьма престижным. Именно этим объясняются следующие примеры: «Сейчас мало быть просто "хорошим парнем", просто "исполнительным". Мало быть даже просто "убежденным". Время требует от аппаратного работника прежде всего превосходного понимания смысла своей работы, способности найти свое место в "производственном процессе", умения честно оценивать свои возможности» (Комс. пр. 1970. 3 марта); "Степанов советовался с Михаилом Васильевичем, и тот прямо сказал, что аппаратная работа тонкая, и такому медведю, как Виталий Петрович, не подойдет" (Г. Лезгинцев. Рудознатцы).

Конец 80-х годов дает однозначную трактовку слову *аппаратный* как негативно окрашенному: «Что же касается самих "таинственных" особнячков – это обычные государственные резиденции, в которых созданы все условия для приема высоких лиц и соответственно для поддержания международных контактов, а не для развлечений, как это многие думали, разложившихся аппаратных чиновников» (Ленингр. рабочий. 1989. 24 сент.).

Аппарат перестал быть нейтральным понятием, в нем стали видеть причину многих бед общества. На волне таких настроений появляется даже вера в то, что можно вообще обойтись без аппарата. Ср. характерный неологизм *безаппаратный*, приводимый Ю.Д. Дуличенко в его книге "Русский язык конца 20 века" (München, 1994): "Разобраться хочу, что это за такой сюрприз перестройки образовался в Красногорском районе и почему он своим безаппаратным хозяйствованием и большими заработками всем колет глаза" (Известия. 1988. 17 мая).

Другим способом словообразовательной активности слова *аппарат* в русском языке конца XX века является обилие производных сложных прилагательных с этим корнем: *аппаратно-бюрократический*, *аппаратно-издательский*, *аппаратно-искусствоведческий*, *аппаратно-командный*, *аппаратно-консервативный*, *аппаратно-партийный*, *аппаратно-структурный*, *аппаратно-чиновничий*, *бюрократически-аппаратный*.

Середина и конец 80-х годов дают невиданный всплеск новой сочетаемости слова *аппарат*: *чиновничий а.*, *государственно-бюрократический а.*, *административно-командный а.*, *административно-бюрократический а.*, *командно-бюрократический а.* и многие другие. Как правило, в прессе 80- – начала 90-х годов практически невозможно

встретить употребление слова *аппарат* с позитивной или хотя бы нейтральной оценочностью.

Производное слово *аппаратчик*, возникшее в послереволюционные годы, тогда еще не имело отрицательной окраски. Например, А.М. Селищев дает такое толкование этому новому для той поры слову: "участник аппарата, управления государством" (Язык революционной эпохи. М., 1928. С. 143). Однако по мере того, как в словах *аппарат*, *аппаратный* формировались негативные оценочные ассоциации, аналогичный процесс происходил и в слове *аппаратчик*. Первые факты относятся к концу 20-х – началу 30-х годов: "Аппаратчики из профсоюзов часто не только не умеют опереться на массы, ...но становятся преградой для самостоятельности масс" (Известия ЦИК. 1930. 30 июня); "Вы, аппаратчики и администраторы, терпеть не можете около себя даровитых людей" (Гладков. Головоногий человек). Эта оценочность столь глубоко вошла в ассоциативную структуру слова, что в литературе оно встречается практически всегда в смысловом противопоставлении другим словам или контексту в целом: "Две основных трудности у нас, – зевая говорил сосед по ночлегу, – в лесу нужен сердцевед-администратор, молодой, гибкий, не аппаратчик" (Пасынков. Человек в лесу); "Я вот думаю, – негромко заговорил [Скоринка], – мы, аппаратчики, так не ощущаем темпов, как вы здесь. Не мы их творим. Все совершается здесь, внизу, в массах" (Львова. Высокий ветер). Из этих примеров видно, что негативная оценочность слова *аппаратчик* группируется вокруг представлений о человеке, утратившем связь с жизнью, ее биением, потерявшем способность творчески, нетривиально мыслить. В словарях же слово *аппаратчик* фиксируется только с конца 40-х годов (впервые – в Словаре Ожегова) с одной стилистической пометой "разг."; здесь нет и намека на неодобрительную оценочность слова, которая так хорошо видна в приведенных цитатах.

Отмеченные негативные ассоциации у слова *аппаратчик* еще более углубились с началом перестройки. В первые перестроечные годы *аппаратчики* олицетворяли собой застойную, косную силу, заведшую страну в тупик: «Все теснее сплывали ряды орденских колодок на маршальском мундире "величайшего деятеля" Коммунистической партии [Л.И. Брежнева]. Все шире становится разрыв между пребывающими в политическом комфорте аппаратчиками и простым народом, которому за чертой развитого социализма замаячила черта грани бедности, забвения и хаоса» (Ленингр. рабочий. 1989. 17 нояб.).

Кажется, резкая негативная оценочность слова *аппаратчик* и ассоциативная связь с коммунистической партией надолго обеспечили ему печальную участь и – как следствие – уход из активного словоупотребления. Однако, как мифическая птица Феникс, это слово вдруг сно-

ва возродилось к жизни. Происходит процесс, во многом аналогичный судьбе слова *аппарат* в революционные годы: от негативной оценочности – к новой сочетаемости, приспособленной для нужд нового государственного строительства. Формирование демократической России, ее государственного механизма вызвали к жизни свободное от негативных ассоциаций слово *аппаратчик*. Вполне нейтрально (и даже позитивно) оно звучит в выступлениях Б.Н. Ельцина. Демократически ориентированные средства массовой информации тоже начали использовать это слово уже без смысловых отсылок (аллюзий) к прошлым – партийным, советским и профсоюзным – аппаратчикам: "Анатолий Чубайс зарекомендовал себя как опытный аппаратчик и блестящий организатор" (НТВ. "Сегодня". 1996. 15 июля).

Таким образом, можно видеть, что слово *аппаратчик* в этом веке ярко отразило влияние социальных факторов: сначала – возникнув как нейтральное слово, затем – пройдя этап сгущающейся отрицательной оценочности и, наконец, сейчас – период наблюдающейся "реабилитации" и возвращения к исходной, нейтральной оценочности, когда на первом месте в слове стоит его назывная функция.

Санкт-Петербург

Язык прессы

О *папарацци*
стрингерах и
таблоидах

Л.А. БАРАНОВА,
 кандидат филологических наук

Редко случается, чтобы время появления нового слова в языке можно было обозначить с точностью до месяца.

Но вот в начале сентября 1997 г. на страницах многих газет России и русскоязычных газет стран СНГ замелькало новое слово: "папарацци". Первоначально оно встречалось лишь в сообщениях о трагической гибели английской принцессы Дианы, вызванной, как предполагают, преследованием назойливых фоторепортеров. Именно их, сделавших своей профессией подглядывание за личной жизнью известных людей, во многих странах мира презрительно именуют "папарацци". А поскольку первые публикации о смерти леди Дианы представляли собой, главным образом, изложение сообщений зарубежных прессагентств, вместе с информацией появилось и слово, до тех пор в русском языке не использовавшееся, но быстро усвоенное и вошедшее в активное употребление: "Щелкали фотоаппараты, каждый из семи *папарацци* старался сделать как можно больше снимков. ... Что могло вызвать катастрофу? Водитель не справился с управлением на большой скорости или кто-то из *папарацци*-мотоциклистов сделал неосторожный маневр? ... Теперь уже кажется, что ничего хорошего у нее никогда не было, только бесконечный развод под вспышками блицев назойливых *папарацци*... Стаи *папарацци* и толпы фэнов, бесновавшихся при каждом ее появлении, способны были дать лишь иллюзию чувства, которого она была почти лишена в своей женской жизни" (Моск. новости. 1992. № 35); "На месте аварии полиция сделала необходимые замеры и увезла на допрос семерых фотографов-*папарацци*. ... Те же люди, которые сегодня обвиняют фотографов-*папарацци* чуть ли не в убийстве, завтра пойдут покупать газеты, где будут снимки из морга, фотографии убитых горем родных" (Комс. пр. 1997. 2 сент.); "*Папарацци*, которых обвиняют в смерти леди Ди, пригрозили голливудским знаменитостям, что те умрут в безвестности" (Комс. пр. 1997. 13 сент.).

Как известно, новые заимствования во многих случаях проходят долгий путь вживания в язык, когда на первых порах их новизна подчеркивается кавычками либо новое слово сопровождается разъяснительным комментарием. Слово *папарацци*, стремительно ворвавшись в язык, столь же стремительно миновало эту стадию. Лишь в очень немногих первых публикациях оно было выделено кавычками либо снабжено разъяснениями: «И вот трагический финал: автокатастрофа в парижском тоннеле, когда "на хвосте" лимузина в очередной раз оказались маниакально жадные до сенсационных снимков фотохулиганы-*"папарацци"*» (Правда. 1997. 2 сент.); «Машина, в которой они пытались оторваться от "хвоста" преследующих их *папарацци* (назойливых репортеров светской хроники, ни на миг не оставлявших Диану в покое), на огромной скорости врезалась в опору тоннеля» (Независимость. 1997. 2 сент. – Укр.); "Пытаясь обмануть дежуривших у отеля *папарацци* (это непереводаемое слово вошло во все языки мира по имени героя фильма Феллини "Сладкая жизнь", который охотился за постельными сценами знаменитостей), хорошо им известный шофер Дианы сел за руль ее машины и поехал совсем в другую сторону, чтобы отвлечь внимание" (Лит. газ. 1997. № 36). Определение, данное в "Литературной газете", можно считать наиболее полным, следует лишь отметить, что утверждение о том, что данное слово вошло во все языки мира, излишне категорично. Слово *папарацци* действительно вошло во многие языки (главным образом, европейские), но отнюдь не во все языки мира.

Фильм Ф. Феллини "Сладкая жизнь", герой которого дал свое имя целому племени фоторепортеров скандальной хроники, вышел на экраны в 1959 году, и с тех пор слово *папарацци* зажило самостоятельной жизнью не только в итальянском, но и в ряде других языков. Характерно, что вхождение данного слова в какой-либо язык зачастую синхронизировалось с какими-то нашумевшими событиями, так или иначе связанными со скандальными фотохроникерами. Так, в Америке это слово получило широкое распространение в 60–70-е годы в связи с гибелью президента Дж.Ф. Кеннеди и в последующем с чрезмерно назойливым вниманием репортеров к личной жизни его вдовы Жаклин. Возможно, трагическая гибель английской принцессы, вольными или невольными виновниками которой стали папарацци, явилась отпавшим моментом вхождения этого слова во многие языки, в которых оно было раньше неизвестно. Во всяком случае, это можно утверждать в отношении русского языка. К тому же слово *папарацци* не осталось лишь достоянием репортажей, описывающих трагические события в Париже, а используется и в других сюжетах: "А вообще у Делона, по его признанию, никогда не возникало проблем с назойливыми *папарац-*

ци" (Комс. пр. 1997. 9 сент.); "Мадонна видит спасение от киллеров и *папарацци* в тоннеле, который прорыт из ее виллы на Майами..." (Комс. пр. 1997. 25 сент.); "После второго показа о нас начали писать в газетах, приходили звезды, закупали нашу одежду. Около дома *папарацци* стояли" (Комс. пр. 1997. 4 нояб.); "Первая леди, посетив родной город, с эскортом из прессы и *папарацци* обошла все любимые места детства" (Моск. новости. 1997. № 44).

Более того, можно отметить и расширение значения слова, использование его для определения скандальных журналистов – искателей сенсационных фактов: «Натиск *папарацци* у космической бездны" – название статьи о поисках причин повреждений на космической станции "Мир"; "Идет проверка комиссией ЦНИИМАШ... Будем надеяться, они не слабонервные. Имеют ... психический иммунитет от кричащих заголовков, которые, как блины, пекут мастаки-*папарацци*, гоняющиеся за "жареным" в космосе... – Журналисты питаются кровью! – выговаривал мне в ЦУПе одетый в штатское обладатель военной выправки и мощного затылка. – Проклятые *папарацци*! Не дождетесь!» (Лит. газ. 1997. № 37); "Недавняя гибель английской принцессы Дианы привлекла внимание всего мира к явлению *папарацци*. Но мы едва ли отдаем себе отчет, что у нас в России на фоне острой политической и кадровой борьбы это явление приобретает особо опасный оттенок. Появилась целая когорта *политических папарацци*. Более того, целый ряд газет фактически стали коллективными, статусными *папарацци*" (Моск. новости. 1997. № 44).

Таким образом, можно сказать, что слово *папарацци* вошло в достаточно активный оборот в русской речи. Суждена ли ему долгая жизнь – покажет время.

В отличие от слова *папарацци* другое недавно заимствованное наименование определенной категории журналистов – *стрингеры* – не получило столь широкой известности и встречается, главным образом, в профессиональном сленге журналистов: "Когда началась война в Чечне, туда ринулось много *стрингеров*, потому что западные журналисты свое здоровье берегут и хорошо платят за опасную съемку. ... В Останкино стрингеры просто переходят из кабинета в кабинет, предлагают материал. ... И тогда я позвонил Гореловскому, оператору, работавшему на западные телекомпании *стрингером*, с маленькой камерой, на свой страх и риск, во всех горячих точках, куда западные люди со своими страховками никогда не поедут" (Л. Новоженев. О "Времечке" и о себе // Неделя. 1997. № 41). В толковых словарях английского языка у слова *stringer* отмечено несколько значений; одно из них, имеющее отношение к журналистике, указывается обычно последним и может быть снабжено пометой "разговорн." "3. Корреспондент новостей, работающий по совместительству либо сдельно"

(The American Heritage Dictionary. 3rd Ed. 1994); "2. (разг.) Внештатный корреспондент газеты" (The Oxford Desk Dictionary and Thesaurus. American Edition. 1997). Если сравнить эти толкования с употреблением данного слова в контексте приведенного выше отрывка, можно заметить, что в русском языке оно приобрело дополнительное значение: стрингер – это не просто внештатный корреспондент, работающий для прессы или телевидения, а журналист-наемник, добывающий материал в "горячих точках" либо в иных опасных местах для заказчиков или с целью последующей продажи, – своего рода "солдат удачи" от журналистики. Тем не менее, слово *стрингер* (как вполне очевидно из приведенного отрывка) стилистически и аксиологически достаточно нейтрально и не имеет дополнительного отрицательного оттенка в отличие от слова *папарацци*.

Однако слово "папарацци" отнюдь не единственное в ряду неодобренных оценок определенной части журналистов: наряду с известными выражениями "акулы пера", "писаки", в последнее время широкое хождение получило слово "журналюги" (ср.: *ворюга, жадюга, нахалюга* и под.).

Существует ряд устойчивых определений также и для продукции недобросовестных журналистов: например, давно и широко употребляемое выражение "газетная утка" – ложный слух, сенсация на пустом месте (семантическая калька из франц. *canard*), а также получившее распространение в последние годы словосочетание "жареные факты" – скандальная, сенсационная (зачастую необоснованно сенсационная, иногда ложная) информация.

Где же публикуют папарацци и прочие журналюги свои "жареные" материалы? На громких сенсациях специализируются вполне определенные издания – *таблоиды*. В русском языке это слово появилось совсем недавно и словарями пока не зафиксировано, поэтому в поисках его определения обратимся опять к толковым словарям английского языка (из которого заимствовано данное слово), где оно толкуется как "малоформатная газета, обычно сенсационной направленности" либо как "газета малого формата, дающая материал в сжатой форме, часто с сенсационными фактами". В русский язык это слово вошло в последние годы, а особый всплеск в его использовании отмечается также в связи с трагическими событиями начала сентября 1997 г., причем наряду с самим заимствованным словом употребляются и словосочетания с производным прилагательным *таблоидный*: «Стив Коц, редактор популярного в США *таблоида* "Нэшнл инкуайер", часто публикующего скандальную фотохронику из жизни известных особ, сообщил, что спустя всего несколько часов после гибели принцессы Дианы неизвестные люди предложили ему приобрести для публикации сенсационные фото. ... Редактор, по его словам, с негодованием отверг

эту "делку крови" и, выступив в прямом эфире телекомпании Эй-би-си, призвал другие *таблоидные* издания сделать то же самое...» (Комс. пр. 1997. 2 сент.); "После трагической смерти леди Дианы голливудские знаменитости объявили войну за уважение своей частной жизни, потребовав от властей применения закона против самих папарацци и директоров *таблоидов*, публикующих компромат об их частной жизни. ... Основано частное сыскное агентство, которое призвано собирать компромат на директоров *таблоидов* и известных папарацци" (Комс. пр. 1997. 13 сент.); "По утверждению некоторых *таблоидов*, Джиллиан Андерсон начала сниматься в порниках чуть ли не малолеткой" (Комс. пр. 1997. 1 нояб.); "Она как могла сопротивлялась скотским привычкам *таблоидов* постоянно заглядывать в окна, подстерегать любой шаг... Как только *таблоидная* пресса почувствовала, что в королевской семье запахло жареным, они пустили по следу Дианы свору наглейших и пронирыливых фотопсов" (Моск. нов. 1997. № 35).

Совершенно очевидно, что образование "таблоидная пресса" явно претендует на то, чтобы стать устойчивым словосочетанием, синонимичным по значению сочетаниям "желтая пресса" и "бульварная пресса", давно и широко употребляемым для обозначения особой разновидности прессы, падкой на громкие скандалы и дешевые сенсации: "Сказка о красавице-принцессе оказалась с несчастливым концом. В роли кровожадного дракона выступила мировая *таблоидная пресса*" (Моск. нов. 1997. № 35); "О том, есть ли у мировой *бульварной прессы* профессиональная солидарность, мы, наверное, узнаем уже в ближайшие дни" (Комс. пр. 1997. 2 сент.); «Виновата ли "желтая пресса" в смерти принцессы Уэльской? ... И потом, что значит "желтая пресса"? Ее создал рынок. ... Да, "желтые" газеты готовы заплатить огромные деньги за эксклюзивные снимки. Но редакторы руководствуются соображениями спроса: самые большие тиражи любых газет в мире – у этой же самой *бульварной прессы*» (Комс. пр. 1997. 2 сент.); «Образ лихого, продажного журналиста с бульваров не меньшая классика, чем "балзаковская женщина". Но на Западе существует четкая грань между *бульварной, желтой* и качественной прессой» (Моск. нов. 1997. № 44).

Любопытно отметить, что в английском языке, из которого заимствовано слово *tabloid*, словосочетания *таблоидная пресса* не существует, для обозначения подобного рода изданий в собирательном смысле используется форма множественного числа *таблоиды*. Так что *таблоидная пресса* является уже русским образованием.

Украина,
Винница

*Практикум по культуре речи***Я говорю – ты говоришь**

Чтобы правильно выбрать слово, необходимо как можно лучше понимать его смысл, его значение. Это не всегда бывает легко, потому что многие слова похожи друг на друга. Иногда это сходство смысла, иногда – сходство формы, а иногда у двух слов много общего и в значении, и в форме. Бывает также, что мы путаем слова потому, что они обозначают что-то такое, что в реальности каким-то образом связано.

Мы предлагаем вам задания, которые покажут, умеете ли вы за сходством видеть различия.

Задание 1. Всегда ли пустота будет вакуумом?

Составьте с приведенными ниже словами словосочетания. Когда в них одно из слов, которые даны в задании, можно заменить другим, а когда этого сделать нельзя?

натуральный – естественный

вакуум – пустота

дискутировать – спорить

собственный – личный

обрести – найти

Как это сделать? Скажем, нам дана пара слов "строить–возводить". Сначала будем составлять словосочетания со словом строить: *строить* → *больницу, здание, фундамент, город, машину, доклад, планы, отношения*. Потом попробуем сделать то же самое со словом *возводить*: *возводить* → *здание, фундамент, город, очи, в куб*. Мы видим, что есть такие слова, с которыми можно сочетать и слово *строить* и слово *возводить*, но есть и такие слова, которые соединяются либо со словом *строить*, либо со словом *возводить*. В сочетании со словами *здание, фундамент, город* слово "строить" можно, пожалуй, заменить словом "возводить", однако даже такая замена не является полной, потому что у слова "возводить" есть оттенки книжности и уважительности, отсутствующие у слова "строить", поэтому

сомнительно сочетание "возводить больницу" и скорее всего мы откажемся от него, если это обычная больница, к которой мы относимся без удивления или восхищения; тем более мы не скажем "возводить сарай" (только "строить сарай"). Значит, у слов "строить" и "возводить" есть сходные значения и различные значения. Покажем это сходство и различие:

строить →

1) *больницу* ("создавать какое-н. сооружение, постройку" – и конкретное здание)

2) *здание* – то же значение

3) *фундамент* – то же значение

4) *город* – то же значение

5) *машину* ("произвести")

6) *доклад* ("создавать, основываясь на чем-л.")

7) *планы* – то же значение

8) *отношения* – то же значение

9) –

10) –

возводить →

1) –

2) *здание* ("создавать какое-н. сооружение, постройку – не конкретное сооружение, а постройку вообще или нечто, что поднимается вверх")

3) *фундамент* (часть здания) – то же значение

4) *город* (совокупность зданий) – то же значение

5) –

6) –

7) –

8) –

9) *очи* ("поднимать вверх" – устар.)

10) *в куб* ("умножить число само на себя столько раз, сколько указывает показатель степени").

С некоторыми существительными слова *строить* и *возводить* образуют устойчивые словосочетания, отдельные элементы которых не имеют самостоятельного значения, скажем, *строить глазки* (в значении "кокетничать"), *возводить на престол* (в значении "сделать царем").

Задание 2. Найдите разницу.

Дайте слова (одно-два), сходные по форме, внешнему виду с исход-

ным словом. Объясните, чем по смыслу различаются слова в каждой полученной паре (тройке):

Артистичный, гуманитарный, заблудиться, наследие, объемный, одеть, типовой, цветистый.

Правильно ли употребляются слова в заголовке газетного текста: "Черепеховые темпы"?

Как это сделать? Скажем, исходное слово – *дипломант*, внешне оно напоминает слова *дипломник* и *дипломат*, но по значению эти слова различаются: *дипломант* – это "лицо, награжденное дипломом за успешное выступление на конкурсе, фестивале или за высокое качество экспонатов на выставке"; *дипломат* – это "должностное лицо, занимающееся дипломатической деятельностью; перен. человек, действующий тонко и умело"; *дипломник* – это "студент, выполняющий дипломную работу".

Задание 3. Ситуация – драматичная или драматическая?

Выберите нужное слово в зависимости от смысла предложения:

1. Приборы помогают установить, какие детали являются (*бракованными, браковочными*).
2. Лучшие рабочие цеха не раз занимали (*выборные, выборочные*) должности.
3. Сюжетом повести стала (*драматичная, драматическая*) ситуация, сложившаяся в семье знаменитого писателя.
4. Зачем ты хочешь казаться (*ироничным, ироническим*) человеком?
5. В этом контейнере может (*поместиться, разместиться*) только четыре автомобиля.
6. Известный модельер оказался весьма милым человеком. На показе он (*поместился, разместился*) недалеко от подиума.
7. Сказка жила и передавалась из уст в уста, переходила из поколения в поколение. Ее корни (*глубинно, глубоко*) народные.
8. Ему (*представили, предоставили*) такую возможность, но он не сумел ею воспользоваться.

Задание 4. "Мнимые" синонимы

Дайте слово той же части речи, чем-то напоминающее исходное слово по значению, но внешне не совпадающее с этим словом. Полученное слово не должно быть синонимом (словом, близким по

значению). Покажите разницу в значении каждой полученной пары слов:

климатический, ритм, конструкция

Как это сделать? Скажем, исходное слово – *пейзаж*; найдем слово той же части речи, которое по смыслу чем-то напоминает слово *пейзаж*, но внешне на него не похоже – это может быть слово *природа*. Объясним значение исходного и найденного нами слов: *пейзаж* – "вид местности"; "рисунок или картина, изображающая природу"; *природа* – "все существующее во вселенной, органический и неорганический мир", "места вне городов (поля, леса, горы)". Ясно, что слова *пейзаж* и *природа* – это "мнимые" синонимы, фразы "Ах, какой пейзаж!" и "Ах, какая природа!" различаются по смыслу.

Ответы к заданиям на с. 124.

Н.В. Муравьева,
кандидат филологических наук



БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ*

Опыт словаря

Л.М. ГРАНОВСКАЯ,
доктор филологических наук

Не буква, но дух (служение не букве, но духу)

Это выражение апостола Павла встречается во Втором Послании Коринфянам: "Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит" (3, 6).

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1998. №№ 1–3.

"Завет благодати является в своей силе и истинном значении не иначе, как будучи начертываем не просто только внешними письменами, подобно как Ветхозаветный Закон начертан был на скрижалях каменных, но Духом Бога живого на скрижалях верующего сердца плотяных" (Бухарев А.М. [Архимандрит Феодор]. Исследования Апокалипсиса. Сергиев Посад, 1916).

Не вливать молодого вина в мехи ветхие

(Вливать молодое вино в старые мехи)

Из притчи Иисуса, приводимой в Евангелии от Луки.

"Никто не приставляет заплат к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не пойдет заплаты от новой.

И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут;

Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое".

По мнению И. Бухарева, "новое вино означает пост, а ветхие мехи – ещё слабость учеников Христовых, которую не следует обременять постом (...). Под словами: *новая одежда, новые мехи и новое вино* можно разуместь и весь новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Новый завет имеет и новые священные книги, и обновляющие нас благодатные таинства, и новое богослужение, и новые посты" (Бухарев И. Толкование на Евангелие от Луки. М., 1902).

Из Назарета может ли быть что доброе?

Жители Назарета не пользовались почетом в глазах иудеев. Быть Назареем значило быть в пренебрежении, быть униженным и отверженным. Однако в этом городе жила Дева, избранная быть матерью Иисусу Христу, здесь прошло его детство.

Это местопребывание Иосифа и Марии до времени их путешествия в Вифлеем. Здесь жили дети Иосифа от умершей его жены. Сюда вернулись Мария с Иосифом из Египта. Здесь было Благовещение Св. Богородице о рождении Спасителя. "На Господе Иисусе Христе и исполнилось это предсказание пророков о Его унижении. По своему смирению Он не стыдился наименования Назореем. С другой стороны, словом Назорей в ветхозаветное время назывались люди, посвятившие себя Богу" (Бухарев И. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 1899).

Возвращается ветер на круги своя

Цитата из Екклезиаста: "Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается на круги свои" (1, 6). Используется в значении: "все повторяется". Этот фразеологизм является одним из излюбленных мотивов в поэзии:

Возвращается ветер на круги своя,
Влажной вечностью веющий ветер...

Кнут. Возвращается ветер

Возвращается ветер на круги своя,
Вот такими давно ли мы были и сами,
Возвращается молодость, пусть не твоя,
С тем же счастьем, и с теми же, вспомни, слезами.

Оцуп. Возвращается ветер...

Продолжается детство без нас,
продолжается детство,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер
на круги своя.

Галич. Последняя песня

Валтасаров пир

Выражение употребляется в значении: "веселое, праздничное времяпрепровождение при великом бедствии, последнее торжество, за которым – неминуемая грозная кара".

Валтасар, один из потомков Навуходоносора, царь Вавилонский, последний из Халдейской династии. Был известен как человек развратный. Таким его описывают историки Геродот, Ксенофонт. По преданию, во время пира велел принести золотые и серебряные сосуды, вывезенные из Иерусалима его отцом Навуходоносором.

Во время пира на стене кисть руки невидимого начертала: "мене (исчислил Бог царство твое и положил конец ему); *текел* (ты взвешен на весах и найден очень легким); *перес* (разделено царство твое и дано Мидянам и Персам)" (Книга пророка Даниила. 5, 26–28). В эту же ночь Валтасар был убит, "И Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет" (5, 31).

"Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество" (Куприн. Звезда Соломона).

Гроб повапленный

Повапленный от *вап, вапа* – краска, красивый карандаш: «о ком-, чем-л., скрывающем за внешне привлекательным видом самые отрицательные, дурные качества (от евангельского сравнения лицемеров "с гробами повапленными, которые красивы снаружи, а внутри полны мертвых костей и всякой мерзости")» (Словарь русского языка. В 4-х т. М., 1984. Т. III).

У евреев ежегодно в известное время подбеливали гробницы, но не ради красоты, а для того, чтобы обозначить их место проходящим: прикосновение к гробу делало человека нечистым. Выкрашенные гробы казались красивыми, а внутри были полны костей и тлена.

"В славянском языке был презрительным символом внутренне опустошенного, но с виду благопристойного человека или общества" (Виноградов В.В. История слов. М., 1994): "Наш свет – гроб повапленный" (Бестужев-Марлинский А.); «Можно ли после этого иначе называть пресловутое "землеустройство", как гробом повапленным, скрывающим все то же, прежнее, старое, крепостническое?» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 25).

Да святится имя Твое!

Означает: да прославится имя Божье да прославится Твое Божеское беспредельное величие, да прославятся дела твои. В начале Нагорной проповеди Иисус сказал своим ученикам: да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. "Может ли Бог быть ещё святее, чем Он есть? – спрашивает св. Августин. – В Себе Самом не может; это имя само в Себе пребывает одно и то же, во веки святое; но святость его может умножиться и возрасть в нас самих и в других людях, и в этом прошении мы молимся, чтобы род человеческий более и более познавал Бога и чтил Его Всесвятого".

"Поэтому слова да святится имя Твое можно понимать так: да проявится святость имени Твоего в людях, творящих волю Твою! да светит свет Твой в них, и да познают и прославят Тебя все народы земли! да будет везде свято имя Твое!" (Гладков Б.И. Толкование Евангелия. СПб., 1907).

Жезл Ааронов

Один из священных атрибутов Скинии.

В Библии говорится, чтобы навсегда устранить в будущем спор о первосвященническом достоинстве (ибо во время странствования в

пустыне некоторые колена были недовольны избранием потомков Левия на служение Богу), Господь велел положить в Скинии 12 жезлов князей двенадцати колен. Жезл Аарона расцвел в одну ночь, и это навсегда утвердило в его потомстве первосвященническое достоинство.

Употребляется в значении: "избранничество, служение высшему, духовному началу" (см. название книги А. Белого "Жезл Ааронов"); "Она [Богоматерь] есть скиния, и храм, и в целом, и в частях, Ковчег завета, и скрижаль, и кадилница, и жезл Ааронов" (Булгаков С. Купина неопалимая. Paris, 1927).

Камень на камне не останется
(Камня на камне не оставить)

"О чем-то сильно разрушенном, опустошенном".

В Евангелии от Луки приводятся слова Иисуса о гибели Иерусалима: "И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения моего" (19, 41–44).

"Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено" (Там же. 21, 6).

В Евангелии от Матфея: "И вышел Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено" (24, 1–2). Очевидно, в евангельских текстах эти выражения первоначально использовались в прямом значении. Переносное – "полностью, начисто все опровергнуть" развилось гораздо позднее. "Много нынче греха, сударыня. Ежели все-то сосчитать, так камня на камне в Москве не останется" (Салтыков-Щедрин М.Е. Пестрые письма); "Продюсер Рей Брус час за часом восстанавливает последние сутки перед казнью. Он опирается на сведения из разных источников, раскопки дворца Пилата. И в результате *камня на камне не оставляет* от некоторых важнейших религиозных постулатов, фактов, вроде бы ставших аксиомой" (Озеров М. Иуда праведник, а не предатель? Лит. газета. 1997. № 13).

Известно, что в 363 году император Юлиан Отступник позволил евреям восстановить храм, но их попыткам помешали стихийные бедствия. Удалось снять последние камни с фундамента и тем довершить исполнение пророчества Христа: "не останется здесь камня на камне".

Вопиать к небу

"Возносить жалобы, мольбы" (Словарь русского языка XVIII века. Л., 1988. Вып. 4). Восходит к одному из событий, описанных в Книге Бытия.

"И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли" (Первая книга Моисеева. Бытие. 4, 8–10).

"Обидеть маленьких людей <...> легко, но надобно вспомнить и последний конец: несправедливость вопиет на небо" (Писемский. Ипохондрия).

Аллилуйю петь

Означает "восхвалять"; аллилуйя – культовое восклицание, восхваляющее Бога: "Доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь" (Псалом 145, 1); "Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя" (Псалом 145, 10).

В книге Псалмов это выражение встречается 23 раза. Как правило, оно служит введением, заключительным словом псалма или тем и другим одновременно. В храмовой службе аллилуйя была обращением священника к молящимся с тем, чтобы те восхваляли Бога.

В русском языке *Аллилуйя сугубая, трегубая* означало восклицание, восхваляющее бога, два или три раза повторяемое" (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1).

Слово *аллилуйя* употреблялось также в сочетании *аллилуйю молоть*. "Словарь русского языка XVIII века" отмечает два значения: 1. *Просторечн.* Говорить вздор: "С тех пор сия у нас пословица идет, Что "аллилуйю" тот поет, Кто мелет вздоры (Княжнин); 2. Жалобно кричать, вопить (Л., 1984. Вып. 1).

Предоставить мертвым хоронить своих мертвецов (Пусть мертвые хоронят мертвых)

В Евангелии от Луки говорится, что один из последователей Иисуса после слов: "Следуй за Мною" сказал: "Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего". "Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй Царство Божие".

Слова Иисуса значат: "предоставь хоронить своих мертвецов тем, которые холодно к Моему учению и к Моему делу спасения людей и

которые сами мертвы по своим грехам" (Бухарев И. Толкование на Евангелие от Луки).

Христос, очевидно, хотел испытать преданность своего ученика, поскольку любовь к Богу должна быть выше любви к человеку, хотя бы это были и его родители. "Кто любит отца или мать, сына или дочь более, нежели Меня, тот недостоин Меня" (Евангелие от Матфея. 10, 37).

Фома неверующий

Означает "вообще о недоверчивом" (Михельсон М.И. Русская мысль и речь. М., 1997. Т. 1).

"Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был *тут* с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю... Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди *их* и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!" (Евангелие от Иоанна. 20, 24–28).

Посмотри, как блаженны дети:
Будем просты сердцем и мы.
Нет слов об этом на свете,
Кроме слов – последних – Фомы.

Гитлисус. Воскресенье

До положения риз

В Книге Бытия рассказывается, что Ной, возделав землю и насадив виноградник, выпил вина, "и опьянел, лежал обнаженным в шатре своем" (9, 21), сбросил ризы (т.е. одежды), в переносном смысле – "до бесчувствия, до потери сознания".

Это сочетание приобрело еще одно значение: "до потери сил, до изнеможения": "Я работаю до положения риз. Держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания, закладываю деревни" (Из письма А.С. Пушкина Н.Н. Пушкиной от 26 июня 1834 г.).

Продолжение следует



**От черноризца Храбра
к
Стефану Пермскому**

*Г.С. БАРАНКОВА,
кандидат филологических наук*

Проблема возникновения наук и искусств, создание изобретений, жизненно важных для людей, в том числе азбуки, находила отражение в различных славянских памятниках и преподносилась в них как исключительно важная, имеющая большое значение в мировоззренческом плане.

В "Сказании черноризца Храбра о письменах" говорится, что после разделения языков были разделены и нравы, обычаи, законы и знания: при этом египтянам досталось землемерие, персам, халдеям и ассирийцам – звездочетство, волхование, врачевание, свреям – святыя книги о

сотворении Богом неба и земли, а грекам – грамматика, риторика и поэзия.

Подобный перечень, как считал И.В. Ягич, читается и в сочинении Феодорита Киррского "Врачевание эллинских страстей" и восходит к "Воспоминаниям Климента", апокрифическому памятнику II в.н.э. (Ягич И.В. Рассуждение южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. СПб., 1896). Представлен он также в "Хронике Георгия Амартола".

В "Сказании черноризца Храбра", специально посвященном возникновению славянской азбуки и письменности, подробно рассказано о создании как греческого, так и славянского алфавитов. Согласно этому произведению, первым языком, на котором говорил Адам, был сирийский. Однако это мнение разделялось не всеми древними авторами, например, в "Хронике Георгия Амартола" осуждаются носители подобных взглядов и утверждается, что первым языком был еврейский. В "Толковой Палее" Сиф, третий сын Адама, назван как создатель еврейского алфавита.

Еще Ягич отмечал, что версия Феодорита о первичности еврейского языка давала возможность опровергнуть тезис об изначальном существовании латинского, греческого и еврейского алфавитов: "Если вначале не было самих языков, то не могло быть и соответствующих азбук". Это ставило под сомнение утверждение о главенствующей роли трех названных языков в богослужении и позволяло допустить появление в той же роли языка славянского как богослужебного и письменного.

В "Сказании черноризца Храбра" также говорится о том, что греки сначала использовали финикийский алфавит для записи своей речи. Создание же собственного греческого алфавита здесь связывается с именем Паламеда, который коротко упоминается в "Изборнике Святослава 1073 года", как "во многуо изобретьник", но в "Сказании Храбра" ему отводится роль создателя 16 греческих букв. Среди других "устроителей" греческой азбуки названы Кадм и Милета, Симонид, Эпихарм Толкователь, Дионисий Грамматик и два безымянных логографа. Таким образом, число создателей греческого алфавита равно семи.

Число же букв греческой азбуки, по Храбру, равно 38. Помимо 24 известных греческих букв, Храбр говорил о трех буквах, обозначающих числа 6, 90 и 900 (это три греческие буквы *дигамма*, *коппа* и *сампи*, вышедшие из употребления, но сохранившиеся для цифрового обозначения) и об одиннадцати двогласных (дифтонгах). В итоге у него получилось 38 букв, то есть столько же, сколько в славянской азбуке, созданной Кириллом.

Для Храбра, стремившегося показать, что система письма формировалась постепенно, важно было подчеркнуть преемственность в созда-

нии алфавитов. С этой целью он говорил о греках, подражавших составителю еврейской азбуки. Кирилл же, в свою очередь, подражал составителям греческой азбуки, начиная с *аза*, а греки – с *альфы*, тогда как евреи – с буквы *алеф*.

Несомненным преимуществом вновь созданной славянской азбуки над греческой Храбр считал тот факт, что алфавит Кирилла был приспособлен для передачи специфических славянских звуков.

Приводя многочисленные аргументы филологического, культурно-исторического и богословско-догматического характера, Храбр утверждал превосходство славянской азбуки над греческой: греческие буквы в течение многих лет составляли семь человек, а перевод священных книг делал 70 мужей. Славянские же буквы составил один Кирилл, и сам же переводил греческие книги на славянский язык в течение нескольких лет. Решающим же аргументом в этом споре было то, что греческий алфавит создали язычники, а славянский – святой муж Кирилл.

"Сказание черноризца Храбра" было популярно в древнеславянской и древнерусской письменности. Как известно, его древнейший список находится в составе Лаврентьевской летописи 1348 года, однако в редакции, отличающейся от представленной в списке из собрания Московской Духовной академии № 145 (в нем отсутствует текст с перечислением славянских букв). В этот период памятник был интересен для всех славян как произведение, утверждающее право славянских народов на собственный книжно-письменный язык и литературу на этом языке.

В конце XIV века "Сказание черноризца Храбра" было использовано замечательным русским писателем Епифанием Премудрым, автором Житий Стефана Пермского и Сергия Радонежского. В этот период все интенсивнее становятся связи Руси с Византией и южными славянами, возрождается интерес к грамматическим сочинениям, усиленно переписываются такие энциклопедические переводные сочинения, как "Изборник Святослава 1073 года", "Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского" и ряд других южнославянских по происхождению памятников.

В Житии Стефана Пермского, желая прославить его миссионерский подвиг, Епифаний дает развернутую картину деятельности создателя пермской азбуки, письменного пермского языка, переводчика на этот язык священных книг. Для компиляторских целей лучшего сочинения, чем "Сказание черноризца Храбра", Епифанию Премудрому было невозможно найти. Вставляя значительный по объему фрагмент "Сказания Храбра" в свое сочинение, Епифаний переработал его в соответствии со своими задачами: в своем житии он пытается оправдать смелое деяние Стефана – основание национальной православной пермской

церкви с зырянским богослужением и письменностью на пермском языке. Все, что болгарин Храбр говорил в защиту славянской азбуки и письменности, Епифаний отнес к созданию пермской азбуки.

В своем сочинении Епифаний использует творения Феодорита Киррского, показывает знание "Толковой Палеи". Создателем первого алфавита – еврейского – он называет Сифа. В свое произведение Епифаний включает отрывок из "Сказания Храбра", содержащий перечень наук и достижений, принадлежащих разным народам, сведения о семи составителях греческой азбуки, о 70 мужах-мудрецах, которые перевели книги с еврейского языка на греческий, число букв славянской азбуки он тоже считает равным 38, однако в вопросе о количестве букв греческой азбуки в тексте Жития имеются разночтения. Отрывок, целиком заимствованный из Храбра, повторяет утверждение о том, что за много лет многие философы собрали греческую азбуку, состоящую из 38 букв.

Однако уже перечисляя названия букв пермской азбуки, насчитывающей 24 буквы, Стефан считал ее состав равным составу греческой азбуки: "так и сеи [Стефан] сложил числом четыре межю дъвема десятима сло(в) подобяся греческиа [азбуки] числу слов ова убо слова по чину [греческих] письмень, ова ж убо по речи пермьскаго языка".

Несомненно, что это сравнение было необходимо Стефану, чтобы сопоставить освященное традицией греческое письмо с вновь созданным пермским, подобно тому, как Храбр, считая число букв греческого алфавита равным 38, стремился подтвердить авторитетность составленной Кириллом славянской азбуки.

В рассуждениях Епифания также присутствует мысль о преемственности алфавитов и систем письма, однако он выстраивал новый по отношению к Храбру ряд: еврейская грамота – греческая – римская и прочие иные – "по мнозех летех роусьскаа, после всех пермскаа".

Перечисляя далее названия первых букв различных азбук, традиционно начиная с еврейской, Епифаний прибавляет, по сравнению с Храбром, названия угорских и пермских букв, отмечая, что не однажды еще возрастет количество букв, ибо много имеется азбук.

Епифаний не рассказывает в Житии, какую систему письма взял Стефан за основу зырянской азбуки, воспользовался ли он образцами славянского или греческого алфавита или брал местные руны – знаки для зарубок пермяков на дереве. В своем произведении он лишь привел состав и названия букв пермской азбуки. Гораздо важнее представлялось агиографу обоснование причины создания этой азбуки на исходе седьмой тысячи лет, когда до конца мира, по ожиданию многих, оставалось всего 120 лет. В Житии Стефана ставится вопрос, почему нельзя было хотя бы воспользоваться уже созданными алфавитами, например, русским, греческим, еврейским, а нужно было заново созда-

вать пермскую письменность? На этот вопрос Епифаний отвечал так: "яве же есть якож наоучаемся от писаниа а не инако како", т.е. дает религиозное обоснование национальной письменности и культуре.

Как русская грамота выше и достойнее греческой, так и пермская грамота превосходит греческую по той же причине, ибо ее создал святой муж Стефан. Подвиг Стефана Епифаний Премудрый сравнивал с подвижничеством Кирилла, он проводил параллель между славянским просветителем и "дидаскалом" Стефаном: "тамо Кирил zde же Стефан оба сиа моужа добра и моудра быста и равна соуца моудрованием оба единако равен подвиг обависта и подяста и б(о)га ради оба потроужаета оу сп(а)сения ради словеном, оу же пермяном яко две светиле, языки просветиста".

Стефан, создатель зырянской письменности и переводчик священных книг на этот язык, явился для пермяков тем же, кем были для всего славянского мира Кирилл и Мефодий – просветителем и первоучителем. В этом уникальность русского миссионера, его исключительное положение в русской культуре. Однако Епифаний не удовлетворился этим сопоставлением, в его изображении Стефан даже превосходит в известном смысле Кирилла, ибо "Кириллу Философу содействовал часто его брат Мефодий или грамоту складывать, или азбуку составлять, или книги переводить. Стефану же никто не оказался помощником, разве только один Господь Бог..."

Еще раз утверждая в своем сочинении значение подвижнической деятельности Кирилла и Мефодия, Епифаний называл их создателями русской грамоты и переводчиками книг на русский язык. Подобно тому, как русский народ хранит добрую память о создателях письменности, пермский "с радостью говорит и с усердием называет имя Стефана, который сложил пермскую азбуку и даровал пермякам знание грамоты и понимание священных книг".

Таким образом, используя древнеболгарское сочинение Храбра о создании азбуки, Епифаний наполняет его новым содержанием, философски осмысливая подвиг Кирилла и Мефодия, он находит в русской культуре равную им по значению и своим целям фигуру – Стефана Пермского и дает, по емкому определению Г. Федотова, "самое сильное в древней Руси религиозное обоснование национальной идее". В этом сказываются предвозрожденческие тенденции, зародившиеся в культурной жизни страны в XIV веке, свидетельствующие об укрепляющемся национальном самосознании и самоутверждении русского народа после Куликовской битвы.



"А радимичи и вятичи от ляхов..."

К интерпретации летописной легенды

А.Ф. РОГАЛЕВ,

доктор филологических наук

Диалектология, топонимические материалы, исторические источники показывают, что этническое обозначение *ляхи* на протяжении длительного периода функционирования в белорусском регионе использовалось в двух значениях – "собственно поляки, люди польской национальности" и "ополяченная шляхта, белорусы-католики" (такой вывод с подробным обоснованием сделан мною еще в 1993 году в книге "Этнотопонимия Беларуси"). Наши же наблюдения показывают, что у слова *ляхи* было еще одно – первичное, древнейшее в хронологическом отношении значение, которое проявляется в летописной фразе "а радимичи и вятичи от ляхов". Как понимать данное сообщение "Повести временных лет"?

Слово *лях* (из **ленх*), как известно, представляет собой краткую форму древнеславянского наименования **ленденин*, **лендин* (последнее образовано по той же модели, что и *русин*). В свою очередь это

наименование образовано от *лендо*, *лядо* – слова, которое у славян изначально имело значение "непаханный, нерасчищенный или вообще неупотребляемый, хотя и пригодный для земледелия участок земли, целина" (Толстой Н.И. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969).

Можно предполагать, что слово *ляхи* родилось в среде древних славянских племен, проживавших в лесостепной зоне, для наименования их северных соседей, которые обитали в лесной полосе и занимались подсечным (паловым) земледелием (слова *ляда*, *лядина* как раз и связаны с типом хозяйства). Таким образом, слово *ляхи* изначально не имело этнического значения и служило для характеристики самых разнообразных, не обязательно только славянских группировок, занимавших определенную производственную площадь и объединявшихся сходством хозяйственного уклада.

К IX веку, когда в том числе и в лесной зоне на славянской основе активно формировались новые субэтноты (протонародности), термин *ляхи* в различных частях славянского ареала постепенно утрачивал обобщенное надэтническое "ландшафтно-хозяйственное", производственное значение, конкретизировался и стал относиться к определенным этносам со свойственным им типом культуры.

В Западной Славии наименование *ляхи* закрепилось за этносом, центр которого находился на среднем течении реки Варты, в болотистой местности, поросшей мелкими кустами, и в таком виде неприемлемой для земледелия, но по осушению обещающей богатые черные земли.

В Восточной Славии *ляхами* называли этносы, возникшие в конце VII – начале VIII веков в результате наслоения поздней миграционной славянской "волны" на предшествующее население. Славянские группы, двигавшиеся на рубеже VII–VIII веков из Придунавья, бассейнов Южного Буга и Днестра, заселяли пространства на востоке и северо-востоке от Днестра – в Посожье, Подесенье, Верхнем Подонье и Поочье, где и возникли синхронные археологические культуры – роменская, северянская (на днепровском левобережье), борщевская (на Дону), радимичская (в Посожье) и вятичская (на Оке).

Не случайно "Повесть временных лет" подчеркивает: "и радимичи, и вятичи, и север один обычай имяху...". Этноты лесостепи – северяне и борщевцы, славяне Подонья – использовали знакомый им термин *ляхи* для наименования населения Посожья и Поочья, осваивавшего производственные площади (ляды) в лесной полосе.

Более поздние переписчики и комментаторы древнейших летописных сводов, не зная раннего значения слова *ляхи*, внесли коррективы и в чтение соответствующей фразы, представив ее таким образом, что

радимичи и вятичи переселились непосредственно от ляхов (пришли два брата Радим и Вятко и сели один по Сожу, а другой на Оке). Такому легендарному толкованию способствовали, по всей видимости, еще два обстоятельства.

Западнославянские ляхи из бассейна Средней Варты продвинулись к области, известной под названием Подлясье, и вступили в непосредственный контакт с восточнославянскими субэтносами. Кроме того, у восточных "ляхов" (радимичей и вятичей), как можно полагать, наступил период централизации, усиления единоличной княжеской власти. Летописцы зафиксировали имена наиболее влиятельных и сильных правителей этих этносов – *Радимира (Радима)* и *Вентислава (Вячеслава. Вятко)*. Подвластные этим князьям группировки поэтому стали радимичами и вятичами.

Однако, ни обозначение *ляхи*, ни наименования *радимичи* и *вятичи* не являлись самоназваниями этих этносов (этно-диалектных групп). Можно предполагать, что общим именем для славянского населения бассейнов Сожа, Десны, Сейма, Сулы, Дона и Оки было *северâ* (*север*, *северяне*). На это указывает распространение в новое время обозначения территории *Северâ*, *Северская земля* не только на всю Черниговскую губернию, но и на прилегающие части Минской, Могилевской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской, Полтавской губерний, а также на Калужскую, Тульскую и Московскую губернии (см.: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона. СПб., 1901. Т. 22).

Заселение с юга было не единственным (хотя, может быть, и основным) направлением миграции славян на территорию Белоруссии и в сопредельные районы Восточной Славии. В составе того же радимичского субэтноса все же были и несомненные западнославянские "вкрапления". Можно сказать так: в своем генетическом "коде" радимичи сохраняли память о предшественниках, то есть тех группировках, которые были предками этого субэтноса ("протонародности"?). Проявлением генетической "памяти" являются, в частности, лингвистические факты.

В "Повести временных лет" под 885 годом рассказывается о походе киевского князя Олега на Сож, на радимичей. Последние в то время платили дань хазарам. Князь Олег освободил радимичей от хазарской неволи, но приказал им платить дань Киеву. И с этого времени радимичи, как говорится в летописи, давали Олегу "по щелягу".

В той же летописи под записью "в год 964" находим и такое сообщение. Киевский князь Святослав ходил на Оку, на вятичей, которые платили дань опять-таки хазарам, причем платили, в соответствии с текстом, "по щелягу от рала", т.е. "от сохи".

Что означает слово *щеляг*? Понятно, что это наименование опре-

деленной денежной единицы. Уже сам факт наличия денег у радимичей (как и у вятичей) свидетельствует, что в среде этих "народцев" не было социального равенства, исчезли родоплеменное деление и управление. Именно поэтому радимичей (и вятичей) нельзя считать племенем, даже племенной группировкой. За каждым из имен – *радимичи*, *вятичи* и т.п. – скрывается определенное этнокультурное объединение, сообщество, находившееся на этапе превращения из субэтноса в "протонародность".

Возвратимся, однако, к наименованию *щеляг*. В XVI–XVIII веках *шелег* относилось к очень распространенной на белорусских землях, в пределах Великого княжества Литовского, медной, а первоначально – серебряной монете. Белорусский языковед, этнограф и лексикограф И.И. Носович в "Словаре белорусского наречия" (СПб., 1870), отмечал: "**Шелег**, древнее **шлягъ**. Старинная мелкая монета. 8-я доля медной старинной копейки, давно уже вышедшая из употребления".

Слово *щеляг*, *шелег* имеет тот же корень, что и немецкое слово *шиллинг*. Связь этих обозначений наводит на мысль о вероятном заимствовании из германских языков (диалектов). Однако такое заимствование произошло не в новое время, а в далеком прошлом. На это указывает ряд обстоятельств. Во-первых, шиллинг, как монета, известен с 550 года новой эры; он чеканился впервые франкскими королями. Во-вторых, этимологические словари приводят соответствующие древнескандинавские, древневерхненемецкие и древнесаксонские языковые факты, которые обусловили появление восточнославянских наименований *шелег*, *щеляг* (см.: Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. II; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. IV). Слово *щеляг* можно по праву считать наиболее давним наименованием денежной единицы восточных славян. По крайней мере, оно тесно связано с историей радимичей и вятичей, предки которых, как сообщает летопись, пришли "от ляхов".

Выражение *от ляхов*, как мы уже видели, не является обязательным подтверждением западнославянского происхождения радимичей и вятичей. Однако это же выражение можно интерпретировать и таким образом, что часть предков радимичей и вятичей имеет западнославянские истоки. Так, наименование *щеляг* в говоры радимичей и вятичей могли привнести какие-то западнославянские группы, унаследовавшие это слово в зонах славяно-германского этноязыкового взаимодействия. При таком понимании существа проблемы выражение *от ляхов* указывает только на направление миграции, переселения отдельного племени или нескольких племен из того ареала, где был возможен непосредственный контакт славянских и германских племенных группировок.

ровок. Вероятно, в данной ситуации имелся в виду не просто случайный, а традиционный, древний, хорошо известный нашим предкам шлях, связывавший отдаленные районы Западной и Восточной Славии. По крайней мере, такая яркая особенность белорусского языка, как "дзекань" и "цекань", распространялась по белорусской территории, как предполагают некоторые исследователи, именно из радимичского ареала (см. об этом в кн.: Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Історико-фонетичний нарис. Київ, 1988). "Дзекань" и "цекань" с разными местными особенностями засвидетельствовано также в большинстве языков северной славянской группы: в польском, верхне- и нижнелужицком, полабском. При этом ядром данного языкового явления считается центральная лехитская территория в ареале великопольских говоров (Мартынов В.В. Славянская и индоевропейская аккомодация. Мн., 1968).

В связи с нашими размышлениями нелишне будет упомянуть топоним *Нудичи* (деревня Брагинского района Гомельской области), образовавшийся в результате так называемой трансонимизации, т.е. перехода этнонима *нудичи*, который являлся обозначением племени сербской группы западных славян, в разряд географических имен. Данный топоним мы называем крайним юго-восточным "следом" поморских славян на карте Белоруссии, причем предполагаем, что он мог появиться, как и ряд других географических названий, в результате движения через территорию Белоруссии межплеменного объединения готов, в составе которых, по давней версии Ю. Венелина, находились и сербы-сервы (подробнее см.: Венелин Ю. О нашествии завислянских славян на Русь до Рюриковых времен. М., 1848; Рогалев А.Ф. Белая Русь и белорусы: в поисках истоков. Гомель. 1994). Не является ли в таком случае распространение "дзеканья" и "цеканья" из радимичского ареала на остальную белорусскую территорию и генетическая "память" о приходе предков радимичей (и вятичей) *от ляхов* отражением готского перемещения в начале новой эры с северо-запада на юго-восток и юг? По мере движения готов от основного массива "откалывались" и оседали в тех или иных районах отдельные группы, часть из которых каким-то образом оказалась на Оке, в области позднейших вятичей, а еще одна часть осела в Посожье и в VIII веке влилась в состав радимичей, образовавшихся (как и вятичи), на наш взгляд, в результате "скрещивания" численно преобладавших "южных" славянских мигрантов ("дулебов" и "северян") и сербов-"ляхов" (последние в таком случае послужили своеобразным субстратом для более поздних славянских пришельцев). Такая интерпретация фактов может служить подтверждением мнения о появлении славян на территории Белоруссии не в начале VII века, а в первые века новой эры.

Правда, готы как будто были лишь в Западном Полесье, а в

Восточное Полесье не заходили (Кухаренко Ю.В. Полесье и его место в процессе этногенеза славян. По материалам археологических исследований // Полесье. М., 1968). Не исключено, однако, что готские дружины переместились из районов устья Вислы, Восточной Пруссии и Северной Польши в северо-западные районы Белоруссии и Западного Полесье, а оттуда по Припяти достигли Днепра. На чем основывается это наше предположение?

Некоторую косвенную информацию дает опять-таки наименование *ляхи*. Судя по записи в недатированной части "Повести временных лет", слово *ляхи* в этнонимической функции употреблялось как обобщенное наименование западнославянских группировок, расселявшихся на территории современной Польши и в Южной Прибалтике; вот характерная фраза летописи: "... словени же ови пришедше седоша на Висле. и прозвашася ляхове, а от тех ляхов прозвашася поляне, ляхове друзии лутичи. ини мазовшане. ини поморяне". Частью пути *от ляхов* в древнерусское время была Припять. Случайно ли, что как раз в южной части Белоруссии, в том числе и в бассейне Припяти, выявляется очень давний ареал названий, образованных от этнического имени *ляхи* (*Ляхи, Ляховичи, Ляховцы, Ляхчицы* и др.)? Названия населенных пунктов типа *Ляхи, Ляховичи*, конечно, могли возникнуть и в более позднее время в связи с миграциями собственно ляшского (польского) населения на восток, в белорусские пределы, но в любом случае они подтверждают возможность использования водного припятского пути и в начале новой эры, в "готский период".

Ляхи-сербы, предположительно прибывшие на территорию современной Гомельской области по Припяти, оставили после себя не только топоним *Нудичи*. В том же Брагинском районе фиксируется и топоним *Гдень* (название деревни), корень которого *гд-* (из **гъд-*), указывающий этимологически на влажную территорию, вычленяется также в географических названиях *Гданьск, Гдыня, Гдов* (территория Польши; последнее название относится к населенному пункту Краковского воеводства). Обратим также внимание на известие Константина Багрянородного о том, что в бассейне Днепра живут сербы.

Таким образом, интерпретацию летописного известия о приходе радимичей и вятичей *от ляхов* следует осуществлять, по нашему мнению, с учетом слияния, смешения, скрещивания в белорусском и сопредельных ареалах в VII–IX и даже в более поздние времена (X–XII вв.) двух основных миграционных потоков славян – с юга и юго-запада, и Среднего Поднепровья, верхнеднепровского, прикарпатского и дунайского ареалов, и с запада, из "ляшских" пределов и польского Поморья.

*Гомель,
Белоруссия*

Пояс, кушак, подпояска в русском быту

Е. В. АНТОШЕНКОВА,

кандидат филологических наук

В памятниках старорусской письменности встречается как собственно название *пояс*, так и его синонимы: *опояска*, *запояска*, *подпояска*, *покрошь*, *кушак*: "А живота, государь, взяли... два пояса бобровых, цена сорок алтын, да семь поясов шелковых, цена пять рублей" (1632 г.); "В короби было... запояски синяя да зеленая" (1691 г.); "Москвитин Ждан Толстоухов явил в проезд товару... 3 аршину бархату черленого гладкого, 50 опоясок пестрых ярославских, мухояр красной" (1633 г.); "У жены моей подпояска гарусная зеленая" (1687 г.); "Она Марфа выняла покрошь черлену, да 2 перевяски шелковых" (1627 г.); "А живота взяли... четыре кушака шелковых, а цена, государь, восемь рублей с полтиною" (1632 г.).

Само название *пояс* считается общеславянским. Оно было одинаково распространено практически во всех регионах России. Перечислим некоторые значения этого слова: "изделие из ткани тонкой выработки из льна, различного назначения; продолговатый кусок ткани, служащий покрывалом, украшением верхней части чего-либо" (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16). Данный термин употреблялся также в значении "обвязка, полоса вокруг чего либо; чем подвязываются поперек стану, (...) опояска, подпояска, кушак" (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1990. Т. III). Кроме уже перечисленного, слово *пояс* также обозначало "поясницу; часть церковных стен; небесный круг" (Лукина Г.М. Название одежды в древнерусском языке XI–XIV вв. // Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. М., 1978). Происхождение данного наименования восходит к праславянскому *ro-ja-sati* > *ro-ja-sъ*, откуда церковнославянское – *ясало* – пояс.

Общерусские слова *подпояска* и *запояска* имели значение "пояса на верхнюю одежду", названия *кушак* и *покрошь* – "праздничные пояса". В памятниках письменности *кушак* стало употребляться не позднее XV века. И слово, и сама вещь пришли к нам с Востока. Следует отметить, что в старорусских текстах данное название фигурирует не только в значении "полотнище ткани для обвязки человека по верхней одежде", но и как "пелена для образа": "а образ на золоте, а пелена кушак черн". Пояс-кушак представлял собой довольно яркий, празд-

ничный, особенно украшенный аксессуар костюма. Кушаки часто надевали поверх кафтанов, и их яркий цвет контрастировал с цветом одежды, придавая ей особый колорит. Богатые кушаки были из дорогих привозных тканей, с особо украшенными концами, которые свисали книзу. В музеях Московского Кремля среди царского платья сохранился дорогой кушак, вытканый золотом и серебром, из 12 подаренных в 1621 году царю Михаилу Федоровичу персидским шахом Аббасом. У князя Ю.А. Оболенского были даже "кушаки бумажные пущены горностаем" (Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986).

С самых древних времен пояс служил оберегом и фигурировал в различных обрядах. Так, жители верховий Десны и Оки считали пояс священным предметом, который каждому давался при крещении. Деревенские дети бегали в одних рубашках, но обязательно подпоясанными. Особенно неприличным считалось молиться и обедать без пояса. По народному поверью, подпоясанного человека бес боится и "шишко" (леший) в лесу не заведет. С другой стороны, отсутствие пояса знаменовало принадлежность к "нечистому" миру, поэтому, например, русалки всегда представлялись в одеждах без пояса. Если обратиться к русскому фольклору, то мы обнаружим, что только отрицательные герои фигурируют там без пояса. Например, в былине "Три года Добрынюшка стольничал" коварная колдунья Марина Игнатьевна, призывая к себе Змея Горыныча, стояла без пояса, тем самым как бы демонстрируя злую силу:

Она высунулась по пояс в окно
В одной рубашке без пояса;
А сама она Змея уговаривает:
– Воротись, мил надежда, воротись, друг!

С древних времен в Польше существовало поверье, что два раза в году – на коляду и Иванову ночь – происходит обращение оборотней в волков. Процедура превращения человека (мужчины) в волка происходит двояко: или набрасыванием на него волчьей шкуры, или посредством "волшебной наузы" – ремня или лыка, заговоренного заклятием, которым опоясывают оборотня, и он становится волком до тех пор, пока чародейный пояс на нем не изотрется или не будет порван (Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987). Таким образом, здесь пояс служит уже в качестве инструмента чародейства.

Поскольку изначально пояс предназначен был служить охраной самой уязвимой части человека – живота, то отношение к нему было особое и не только у славянских народов. Известно, что хетты в III тыс. до н.э., придя на территорию Малой Азии, поражали своих соседей удивительным обычаем: взяв в плен вражеского воина, они сначала

снимали с него пояс, а уже потом отнимали у него оружие. Снять с человека пояс означало обесчестить его, изменить его социальный статус, превратить в раба. На Руси также каждый уважающий себя человек должен был ходить подпоясанным (Жарникова С.В. Обрядовые функции женского народного костюма. Вологда, 1991).

Известно, что в тех районах России, где существовало крепостное право, с крестьянина, отправляя на конюшню пороть, предварительно снимали пояс.

Следует отметить, что пояса имели половозрастную дифференциацию: мужчина–женщина; ребенок–старик; девушка–невеста. Они обозначали статус человека на разных этапах социальной жизни. Особое место отводилось поясу в ритуалах жизненного цикла: рождение – бракосочетание – смерть. Цветовая гамма поясов также определялась их назначением. Свадебные пояса – красные, погребальные – чаще синие (как синоним черного в оппозиции к белому). В Рязанском крае известен обычай, по которому с умершего снимали пояс и отдавали его нищим, а в гроб клали тот, что получал человек при рождении. Лошадь, везущую сани с покойником, также вели за пояс (Лебедева Н.И. Народный быт в верховьях Десны и в верховьях Оки. М., 1927).

Имеются сведения, что в белорусских деревнях существовал целый ряд ритуальных действий, где главным элементом был пояс. Так, например, во время венчания под ноги молодых клали полотенце и пояс, а к свадебному столу брат мужа вел молодых на поясе, который хранился затем для будущего первенца. В первый год замужества жена, сжав сноп, обвязывала его поясом, который дарила мужу. В Витебской губернии до недавнего времени сохранялся обычай, согласно которому при входе в новый дом хозяин переступал порог первым, а затем за пояс втягивал остальных членов семьи.

Первые пояса были плетеные, затем тканые. Праздничные женские пояса делались из шелка, затканного золотой или серебряной нитью, бархата или кожи с коваными металлическими бляшками. Часто дорогим металлом отделялись лишь наконечники поясов, завершаемых бубенчиками, а сам пояс украшался канителью (винтообразной золотой или серебряной проволочкой). У женщин победнее бляшки эти (наузольники) были медными или бронзовыми (Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1982). К поясам привешивались также необходимые вещи: ключи, ножницы, кошельки и проч. Интересно отметить тот факт, что люди, выходя на улицу, особенно в холодное время года, надевали на себя несколько одежд сразу и практически каждую из них подпоясывали. Таким образом, на человеке могло оказаться сразу несколько поясов. Не снимали пояс даже в избе и спать ложились подпоясанными. Известно, что старообрядки на русском Се-

вере даже в XX веке носили пояс на голом теле до кончины, не снимая его даже в бане (Лебедева. Указ. соч.).

Место, где полагалось быть поясу, уточнялось модой. Так, в XVII веке модно было подпоясываться ниже талии, чтобы больше казался живот – это считалось "солидное". У рубах делался напуск и образовывалась так называемая *пазуха* (ср. выражение *положить за пазуху*). Некоторые исследователи предполагают, что в ту пору молодежь все же старалась выглядеть стройнее и подпоясывалась по талии (Рабинович М.Г. Одежда русских XIII–XVII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986). Существовал также вариант подпоясывания под грудью, главным образом, женских рубах и сарафанов.

Исторические факты свидетельствуют, что высшие военачальники, крупные феодалы, князья носили и драгоценные золотые пояса. Недаром иноземцы называли членов новгородского Совета господ *золотыми поясами*. В духовных грамотах – завещаниях московских великих князей и царей – не раз названы эти фамильные драгоценности. У Ивана Калиты было девять драгоценных поясов, у Ивана Красного – четыре, у Дмитрия Донского – восемь. Сыновья великих князей получали в наследство не только удел, но и драгоценности, среди которых обязательно был и золотой пояс (Рабинович. Одежда русских XIII–XVII вв.). Один такой пояс послужил поводом к большому дворцовому скандалу, приведшему к разрыву между Василием Темным и его двоюродными братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. В феврале 1433 года на свадебном пиру в Москве Софья Витовтовна, женившая своего сына, князя Василия Васильевича (впоследствии Темного), обнаружила на Василии Косом золотой пояс на цепях, который получен был в приданое Дмитрием Донским от его тестя – суздальского князя. На свадьбе Донского пояс подменил тысяцкий и отдал краденую вещь своему сыну Микуле. После этого пояс переходил из рук в руки, пока не достался Василию Косому. Софья Витовтовна публично сорвала пояс с Василия Косого, который "разлюбившеся", немедленно уехал из Москвы, и как писал летописец: "понеже много зла с того почалось".

Таким образом, мы можем убедиться, что у наших предков пояс имел огромное функциональное значение. Он использовался как оберег, а также с утилитарной и эстетической целями. Кроме того, памятники русской письменности свидетельствуют, что наряду со словом *пояс* употреблялись и другие названия (*кушак, покроть, опояска* и др.), отражающие особенности ношения этой детали одежды.



Малинин, Буренин и другие

Гимназические учебники ушедшей эпохи

Н.М. ДЕБЛИК

Учебники – одна из составных частей картины мира, воссоздаваемой творческой личностью, метонимии ее школьного детства и отрочества: "Уже одиннадцать часов, спать пора, а третья задача из Евтушевского еще не решена" (Осоргин. Портрет матери).

Ребенок еще не имеет возможности познавать действительность во всей ее неповторимости. Посредниками, учебными моделями мира, непререкаемыми авторитетами и первыми источниками информации, проверять которую придется позже, служат печатные страницы: "В учебниках географии Янчевского и истории Иловайского многожды названо имя Рима" (Осоргин. Земля); "только из учебника Янчевского я знал, что есть такая страна – Дания" (он же. Повесть о сестре).

Фамилии составителей учебников алгебры и немецкого языка – элемент кругозора, небольшого жизненного опыта гимназистов, образ иронически переосмысленного сравнения по признаку смежности и единства (выделены курсивом): "Девочки улыбались окончательно. Я осмелел и бойко объяснил девочкам, что теперь мы будем учиться

вместе и будем как подруги и товарищи, как братья и сестры, как Минин и Пожарский, как "Кавказ и Меркурий", как *Шапошиников* и *Вальцев*, как *Глезер* и *Петцольд*, как Римский и Корсаков..." (Кассиль. Кондуит и Швамбрания).

Ученик садится за учебник чаще всего не по доброй воле. Учеба для него – довольно неприятная, трудная и скучная обязанность, вторгающаяся в беззаботный и безоблачный мир детства. Она придумана "коварными" взрослыми специально для отлучения от игр. Это значение номинации учебной книги можно увидеть как в автобиографических, так и в других текстах: "Не хочу арифметики Малинина и Буренина, хочу опять быть маленьким, а если постарше, то любить белокурую Катеньку" (Осоргин. Усталость).

В творчестве разных писателей по-разному, в зависимости от жанрово-целевой установки произведения, реализуется мотив действительной или воображаемой расправы над учебниками-"мучителями". Эта мысль посещала головы не одного поколения учеников: задачник Малинина и Буренина и учебник истории Иловайского переиздавались на протяжении полувека: соответственно с 1866 по 1918 и с 1867 по 1916 годы. Негативное отношение к содержанию учебников переносится на их составителей как на реальных личностей: "На сеновале – Вовочка и трое второклассников, самых верных: Иловайского – в угол" (Замятин. Огненное А.). Субъект автобиографической хроники просто называет действие, которое производят над книгами окончившие курс гимназисты: "наступал, наконец, день, когда Малинины, Буренины и Евтушевские, негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвались в клочья" (Осоргин. Времена). Автор простирает границы своей фантазии до описания сценки, в которой действуют его "недрузья", и использует фамилии Малинина и Буренина в качестве образцов сравнения.

Ребенок всегда мечтает выйти из-под зависимости, сменить статус подчиненного на статус равного или лидера: "когда вырасту" – это время сведения счетов со всеми обидчиками в обычном детском представлении. Ребенок еще не знает, что в будущем ему уже не будет так важно поквитаться со всеми, кто был сильнее его, что вместе со взрослением изменится и система его ценностей. Зависимость от страшных "монстров" – "Малинина и Буренина" – временная, но ему она представляется постоянной. Ничего с этим поделать нельзя! Остается только мысленно истязать воображаемых создателей учебника: "Разве можно любить сочинителя арифметического задачника, автора коротких и запутанных сочинений? (...)" "Пройдут года, и я вырасту, – думал ученик, – и когда я вырасту, я пройду по главной улице города и увижу моих недругов. Малинин и Буренин, обедневшие и хромые, стоят у пекарни Криади и просят подаяния. Взявшись за руки, они поют жалобными голосами. Тогда я подойду поближе к ним и скажу: Только

что я приобрел 17 аршин красного сукна и смешал их с 48 аршинами черного сукна. Как вам это понравится? И они заплачут и, унижаясь, попросят у меня на кусок хлеба. Но я не дам им ни копейки" (Ильф. Разбитая скрижаль).

Сукно, купцы, аршины, версты... В текстах старых задачников отражается действительность эпохи. Задачи "из Малинина и Буренина" отличает непревзойденный прагматизм. В них деловые люди получают прибыль, "некто" завещает сыновьям крупную сумму денег, извозчик оплачивает разбитое по дороге из собственного кармана... Приведем для примера несколько таких задач:

Сколько денег должно раздать четырем нищим, если каждому из них будет дано по 4 коп.?

Три купца внесли для общей торговли: первый 12.000 руб., второй 8.000, третий 10.000 руб. и получили прибыли 3.600 р. Сколько следует получить каждому из этой прибыли?

Для перевозки 36 зеркал был нанят извозчик, с условием, что за доставку каждого зеркала он получит 2 руб., а за каждое разбитое им зеркало он сам должен заплатить 12 руб. Дорогою он разбил несколько зеркал, и при расчете получил 30 руб. Сколько зеркал он доставил в целости?"

Некто перед смертью разделил свой капитал, состоявший из банковых пятипроцентных билетов и приносивший ему в год 1220 руб. дохода, между четырьмя своими сыновьями, обратно пропорционально их возрасту: старшему сыну было 20 лет, второму 18, третьему 15, младшему 6 лет. Сколько досталось каждому сыну? (Малинин А., Буренин К. Арифметика. Изд. 16-е. 1888).

Маленький человек еще не готов к серьезному восприятию этой "грубой" действительности с ее расчетливыми купцами и не в меру дальновидными умирающими. Ему совсем не интересно, сколько зеркал доведет до места мифический извозчик. Все это он воспринимает как попытку больших преждевременно навязать ему правила своей, взрослой, игры и отчаянно сопротивляется этому: «В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый "Некто", этот самый Некто, купивший 25 $\frac{3}{4}$ аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании» (Кассиль).

В детском сознании не укладываются абстракции. Ученик своеобразно пытается преодолеть рутину, противопоставляя неопределенному – конкретное: "Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка, по 4 рубля 81 копейки за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек, – сколько он истратил на кафтан, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она пыталась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем (...) но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяина нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке" (Осоргин. Времена).

Взрослые как будто бы нарочно превращают мир в таблицы, иксы и игреки. Ход мыслей фантазера-гимназиста Семена Панталыкина, персонажа рассказа А. Аверченко, отвлекающегося на преобразование "серого" условия задачи до приемлемого, по его мнению, варианта, и забывшего о ее решении, воссоздается автором в гротесковой форме: "Задача была следующая. Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт Б, причем один из них делал в час 4 версты, а другой 5. Спрашивается, насколько один крестьянин придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б такое же расстояние в верстах, сколько получится, если два винооторговца продали третьему такое количество бочек вина, которое дало первому прибыли 120 рублей, второму 80, а всего бочка вина приносит прибыли сорок рублей" (Аверченко. Экзаменационная задача).

Над учеником нависает угроза "двойки" и неприятная перспектива ее последствий. Но желание играть в задачу, а не решать ее, вместе с неумением сосредоточиться на главном берет верх, и Панталыкин безнадежно теряет время на бесцельное опредмечивание абстракции. Он попросту оживляет "плоскую" задачу. Каждое лицо в ней становится зримым, рельефным. Как назвать серых Икса и Игрека? На помощь приходит книга приключений, лежащая в портфеле: "Первым делом ему пришла в голову мысль: что это за крестьяне такие – "первый" и "второй"? Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми человеческими именами? Конечно, Иваном или Василием их можно и не называть (инстинктивно он чувствовал прозаичность, будничность этих имен), но почему бы их не окрестить – одного Вильямом, друго-

го – Рудольфом? (...) Вот опять же – написали: пункт А. пункт Б... Что это за названия? (...) Почему бы не назвать один город Санта-Фе, а другой – Мельбурном?" (там же).

Вот теперь хорошо!.. Условие задачи превращается в стилистический слепок с остросюжетных приключенческих романов. В фантазии нагромождаются мельчайшие живописные детали, бессловесные "пешеходы" наделяются характерологической речью: "Задача: ... Солнце еще не успело позолотить верхушек тамариндовых деревьев, еще яркие тропические птицы дремали в своих гнездах, еще черные лебеди не выплывали из зарослей австралийской кувшинки и желтоцвета, – когда Вильям Блокер, головорез, наводивший панику на все побережье Симпсон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной тропинке... Делал он только 4 версты в час – мешала больная нога, подстреленная вчера его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом широколиственной магнолии. "Каррамба! – бормотал Вильям. – Если бы у старого Билля была сейчас его лошаденка... Но... пусть меня разорвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не пройдет и двух лун ..." (там же).

Результат таких манипуляций с задачей известен: двойка, переэкзаменовка, – больные уколы действительности. Но разве Сеня Панталыкин так уж несчастен? Ведь он побывал в сказке.

... Писатели, принадлежащие к противоположным политическим лагерям, прожившие жизнь в абсолютно разных условиях (Осоргин, Замятин, Аверченко – беллетристы первой волны белоэмиграции, Катаев, Кассиль, Ильф – "благополучные" последователи коммунистической идеологии), упоминают в своих произведениях одни и те же имена.

Они учились по одним учебникам, известным всей грамотной России: Малинин, Буренин, Евтушевский, Иловайский, Краевич, Янчевский, Шапошников и Вальцев, Глезер и Петцольд – точки объединения разных биографических пространств, общее в художественном видении мира, символы единых истоков, возврат к счастливой поре детства, где еще нет "красных" и "белых", где умирают лишь понарошку, где живут в круглых вихрастых головах нехитрые мальчишеские тайны.



Топонимический словарь Центральной России*

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Пржевальское. Поселок в Смоленской области. Пржнее название *Слобода*. От *слобода* "свободное поселение, имеющее определенные льготы, освобожденное от налогов и повинностей". Современное название дано в память об известном русском путешественнике Н.М. Пржевальском (1839–1888), который жил здесь в периоды между поездками.

– Место туризма и отдыха, богато минеральными источниками и грязями.

пржевальцы, пржевалец
пржевальский, -ая, -ое

Приволжск (1938). Город в Ивановской области. Название прозрачно: приставка *при-*, суффикс *-ск* и название реки, т.е. город, расположенный *при* (около, у) Волги. Он действительно находится при впадении реки Шачи в Волгу. Приставка *при-* довольно активно участвует в образовании топонимов России: города *Приморск* (неоднократно), *Приморско-Ахтарск*, *Приозерск* и др.

приволжцы, приволжец
приволжский, -ая, -ое

Приморск (1940). Город в Ленинградской области. В названии

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–3.

отражается положение города по отношению к морю – при море, у моря. Более древние названия: *Березовый, Бьёркё, Койвисто*. *Березовым* было названо новгородское селение XIII века на месте этого города, т.к. возникло поблизости от Березовых островов. В конце XIII века острова были заняты шведами, которые перевели русское название на шведский и финский языки: *Бьёркё* (швед. björk "береза"), *Койвисто* (фин. koivi "береза"). После возвращения в состав русских земель (XVIII в.) село опять называлось Березовое (Кисловский. Словарь географических названий Ленинградской области; Поспелов. Имена городов. Вчера и сегодня).

В 1949 году город получил современное название (по расположению – вблизи от Балтийского моря). Аналогичные топонимы известны и в других местах, например город *Приморск* в Калининградской области.

приморцы, приморец

приморский, -ая, -ое

Приозёрск (1925). Город в Ленинградской области. Название отражает местоположение города на берегу Ладожского озера. Один из древнейших городов северо-западной Руси (упоминается в летописи под 1143 г.). Более раннее название *Корела* – по финноязычному народу корела. В 1581–95 и 1611–1710 годы город находился под властью Швеции и получил название *Кексгольм*. Это неточная передача на русский язык шведского названия *Кыкисалми* "кукушкин пролив", как считает А.И. Попов (Следы времен минувших). С 1944 года в составе Ленинградской области. В 1948 году переименован в *Приозёрск*.

приозёрцы, приозёрец

приозёрский, -ая, -ое

Пристень (1959). Поселок городского типа в Курской области. Топоним можно соотнести с апеллятивом *стенка* "крутой склон – глубоко врезанной речной долины или крупной балки, часто заросшей лесом или низкими кустарниками", известным на территории Черноземного Центра (Мильков Ф.Н. Типология урочищ и местные географические термины Черноземного Центра // Научные записки Воронежского отдела Географического общества СССР. Воронеж, 1970. Вып. 2). Подобное значение отмечает и В. Даль: стена – "стена вала, рва, канавы, боковая крутость, крутой откос". Он же приводит и слово *стень* в значении "стена невода, пелена, ширина, вышина, ноги" невода (Даль. IV). Возможно, *Пристень* – это название сселения, сформировавшегося у стены вала, рва или крутого склона оврага, балки.

пристёнский, -ая, -ое

Приютино. Дачный поселок в Ленинградской области входит в состав города Всеволожска. Свое название поселок получил по усадьбе

Приютино, принадлежавшей вице-президенту Академии художеств А.Н. Оленину. Здесь бывали многие известные поэты и художники первой половины XIX века, в связи с чем усадьба именовалась в то время как "приют русских поэтов", что и дало впоследствии топоним *Приютино*. Упоминание об этой усадьбе и её владельцах неоднократно встречается в русской поэзии, например у А.С. Пушкина, А. Блока. Аналогичные названия *Приутово*, *Приют* известны в Мордовии. Исследователи мордовской топонимии связывают их с глаголом *приютить* "дать место для жилья, пристанища, отдыха" (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

прию́тинцы, прию́тинец

прию́тинский, -ая, -ое

Приу́пский (1954). Рабочий поселок в Тульской области. Название поселка отражает его местонахождение – при реке Упе, поблизости от нее. См. *Упа*. Подобный тип широко известен в топонимии России и, в частности, в центральной ее части: поселки *Приокский*, *Приречный*, многочисленные *Приморские*, *Приозерные*, *Прибрежные* и т.п.

приу́пчане, приу́пчанин

приу́пский, -ая, -ое

Про́нск (1186)*. С 1958 года рабочий поселок в Рязанской области. В прошлом – столица Пронского княжества, один из древнейших русских городов. Первоначальная форма – *Прыньскъ* (до нач. XIII в.), затем *Проньскъ*. Название дано по реке Проня.

Происхождение гидронима *Проня* не установлено. Существует несколько гипотез, интерпретирующих его как финно-угорский, балтийский или славянский гидроним. Сложность объяснения определяется и тем, что Проня известна в бассейне реки Сож, а её производные в других местах Поднепровья. Одни исследователи с определенной долей неуверенности считают возможным соотнести его с балтийским материалом (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимии Верхнего Поднепровья). Это предположение подтвердил О.Н. Трубачёв в переводе "Этимологического словаря русского языка" М. Фасмера (т. III): М. Фасмер видит в гидрониме *Проня* славянскую основу и соотносит его с чешским *ronu* "быстрый, неукротимый, буйный".

Существует малоубедительная финно-угорская (мордовская) версия происхождения этого гидронима, по которой в его основе надо видеть мордовское слово *пра(пря)* "голова, вершина". Этот апеллатив в чистом виде находят в другом окском гидрониме – *Пра* (Топоров, Трубачев. Указ. работа). Она поддерживается и тем обстоятельством, что Проня и Пра находятся в зоне финно-угорской гидронимии Поочья.

Заслуживает внимания мнение Ю.П. Чумаковой, выдвигающей убедительные аргументы против мордовского происхождения гидронима

Проня. Они сводятся к следующему: Проня находится в той части Среднего правобережного Поочья, где пласт мордовской гидронимии минимален. Он резко возрастает к востоку от Прони, к тому же гидронимия бассейна этой реки носит славянский характер и соотносится с гидронимией бассейна реки Сож, где известен гидроним *Проня*. Окская Пра не может быть аргументом в пользу мордовского происхождения Прони, так как эти реки находятся в разных диалектных и этнографических зонах Среднего Поочья: Пра – в левобережье Оки, в зоне Мещеры; Проня – в правобережье, на так называемой Рязанской стороне (Чумакова. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным).

прончѣне, прончѣнин, прончѣнка, *летописн.* проняне
прѣнскій, *-ая, -ое*

Протва. Левый приток Москвы-реки. Происхождение названия не выяснено, но существует несколько версий его объяснения. В.А. Никонов считал гидроним славянским и ссылаясь на форму *Поротва* в духовных и договорных грамотах русских великих князей XIV–XVI веков, а также в одной из летописей. Достоверных аргументов в пользу этого предположения он не представил. Неубедительна связь гидронима с северо-восточным ареалом на *-ва* (*Лысьва*, *Сытва* и др.) из-за его отдаленности от Подмосковья. Не имеющими достаточной аргументации, основанными преимущественно на внешнем созвучии представляются предположения М. Фасмера (Фасмер. II). Предпочтительнее в настоящее время выглядит мнение В.Н. Топорова о балтийском характере гидронима, имеющем соответствия в прусском и литовском языках (Топоров. "Baltica" Подмосковья). Оно может быть поддержано и общностью подмосковно-балтийского ареала гидронимов на *-ва*, хотя и очень разреженного. К тому же, по свидетельству Лаврентьевской летописи, в бассейне Протвы проживало балтоязычное племя голядь. Гидроним дал вторичные названия: река *Малая Протовка* (Мал. Протва), поселки *Протва*, *Протвино*.

Протва (1962). Рабочий поселок в Калужской области. Название дано по реке Протва, поблизости от которой он основан. См. р. *Протва*.

протвѣнцы, протвѣнец
протвѣнскій, *-ая, -ое*

Протвино (1965). Рабочий поселок в Московской области. Название дано по реке Протва, поблизости от которой поселок основан. См. р. *Протва*.

протвѣнцы, протвѣнец
протвѣнскій, *-ая, -ое*

Пруссыня. Деревня в Ленинградской области. Как считают исследователи, название дано потому, что когда-то деревня и окрестные места

принадлежали жителям Прусской улицы Новгорода, которые вели торговлю с Пруссией. Поблизости от Прусъни—деревни *Прусънская Горка*, *Прусънское* торфяное болото; а также есть топонимы *Прусово*, *Прусъ* (Кисловский. Указ. соч.).

прусы́нцы, прусы́нец

прусы́нский, -ая, -ое

Псков (903)*. Город, центр Псковской области. Другие формы: *Плесковъ*, *Пльсковъ*, *Пъсковъ*, *Пьсковъ*. Название дано по реке Пскова, при впадении которой в реку Великую город был основан (первоначально как поселение). См. *Пскова*.

псковичи́, псковичь, псковичка и псковитя́не, псковитя́нин, псковитя́нка; псковича́не, псковича́нин, псковича́нка, *устар.* псковичи́н, псковичи́нка и др.

псковский, -ая, -ое и псковской, -ая, -ое

Псковичи – *капустники*, *мякинники*, *ершееды*. Эти прозвища отражают особенности питания псковичей в старину: ели капусту, мякину (мало зерна), ершей.

Псковичи небо кольями подпирали – три дня сходка стояла, думая что делать; туча нависла, решили кольями подпирать. В этой пословице говорится об упрямом характере псковичей и их наивности.

Пскова. Правый приток реки Великой. Происхождение названия окончательно не выяснено. Все версии можно объединить в две группы – славянскую и прибалтийско-финскую. Наличие форм *Плесковъ*, *Пльсковъ* в названии города дало основание некоторым исследователям соотнести его с глаголом *плескать*, *плескаться*, что не может быть признано убедительным, т.к. для названия реки эти формы не известны. Они относятся только к городу. Более вероятным является соотнесение гидронима с апеллятивом *плес* (*плесо*) "прямой спокойный участок реки от одного поворота до другого", т.е. *Пскова* – река с большим количеством плесов. Окончательно согласиться с этим мешает факт отсутствия буквы *л* в гидрониме. А.И. Попов, развивая известную гипотезу о прибалтийско-финском происхождении гидронима, расширяет характер аргументов и делает убедительные выводы (Попов. Указ. соч.). Считая наиболее древней формой *Пъсковъ*, он определяет *л* как позднейшее образование – *л* после мягкого губного *п*. При этом он говорит о редких случаях появления такого *л* в начальном слоге, преимущественно в заимствованных словах. Это обстоятельство дает ему убедительное основание связывать топоним *Пскова* с прибалтийско-финским материалом. Он считает, что в основе гидронима *Пскова* чудской апеллятив, соответствующий финско-суоми *pihka* "смола" и эстонскому *pihk* "липкая масса", что отражено в финском названии

Псковы *Pihkava* и в эстонском *Pihkva*. Окружающий прибалтийско-финский гидронимический ландшафт, по мнению Попова, подтверждает это предположение. На современном этапе изучения гидронима эта гипотеза представляется предпочтительной.

Пулково. Поселок в Ленинградской области на месте бывшей деревни Пулково. С.В. Кисловский для объяснения этого названия приводит финское собственное имя *Пулк* (Кисловский. Указ. соч.) Здесь же небольшая речка *Пулковка*. *Пулковские высоты*. Вероятно, первоначально название относилось к деревне и перешло на название реки и высот.

– Здесь, через Пулковские высоты проходит Пулковский меридиан, поблизости находится Пулковская астрономическая обсерватория. Пулковские высоты сыграли важную роль во время Великой Отечественной войны.

пулковцы, пулковец

пулковский, -ая, -ое

Пупки. Село в Рязанской области. В основе названия слово *пупок* (от *пуп*). *Пупом* и его производным в диалектах русского языка обозначается все, что возвышается над окрестностью: *пуповина* "небольшое место, чем-л. отличающееся от окружающей растительности", "поросший остров в степи", "лесок среди кустарника"; *опупок*, *опупь*, *опупье* "округлый холм", "поросшая и ровная горка", "округлая вершина горы", "возвышенное место, образующее остров во время разлива" (Даль. III). Вероятно, в одном из этих значений слово *пупок* дало название селу.

пупковцы, пупковец

пупковский, -ая, -ое

Пустошка (1925). Город в Псковской области. В основе названия апеллятив *пустошка* (уменьш. от *пустошь*) "заброшенная земля, пашня", "разрушенное, запустевшее селение". Апеллятив довольно активен в топонимии Северо-Запада. Э.М. Мурзасв приводит несколько аналогичных названий в Новгородской и Псковской областях: *Пустошка* (12 названий), *Пустошь* и др. (Мурзаев. Словарь народных географических терминов). И в этом, и в аналогичных случаях обращает на себя внимание тот факт, что апеллятив, становясь топонимом, меняет место ударения.

пустошане, пустошанин, пустошанка; пустошкинцы, пустошкинец

пустошкинский, -ая, -ое

Путятино. Село в Рязанской области. По сведениям рязанских исследователей, в основе топонима личное мужское имя *Путята*. По легенде, князь Путята Путятювич охранял Шацкую засечную черту, точнее –

Шацкие ворота засечной черты. Имя *Путята* и фамилия (прозвище) *Путятин* были широко известны в Русском государстве еще с XV века: князь Семенович Путята Друцкий, начало XV в.; от него князья Путятины и др. (Веселовский. Ономастикон).

путятинцы, путятинец
путятинский, -ая, -ое

Пучеж. Город в Ивановской области. В 1793 году слободка *Пучецкая* (известная с XVI века) получила права посада. Как самое простое, название возводят к *пучина*, *пучить*. Однако окончание *-еж* и то обстоятельство, что оно находится в зоне финноязычной топонимии, даст основание сомневаться в таком объяснении. Происхождение названия неясно, во всяком случае его надо ставить в один ряд с такими, как *Мележ*, *Ремеж*, *Нереж* и др. в бассейне Оки (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки), *Сенеж* (басс. Волги) и др. В.А. Никонов допускал возможность связи с марийским *пучы* "олень" (Никонов. Краткий топонимический словарь).

пучежа́не, пучежа́нин
пу́чежский, -ая, -ое

Пушкин (1808). Город в Ленинградской области. Более ранние названия: *Сарская мыза*, *Сарское село*, *Царское село*, *Детское село*. Село возникло на месте бывшей шведской мызы (*мыза* – "хутор" на северо-западе России, в Прибалтике) *Саари мойс* (от прибалтийско-финского апеллятива *saari* "остров", "сухое", "возвышенное место"), получившей русское наименование *Саарская мыза* (или *Сарское село*). С 1728 года и до 1918 называлось *Царское село* (здесь находилась летняя резиденция русских императоров). С 1918 по 1937 – *Детское село* (после революции царские дворцы были переделаны под детские санатории и дома отдыха). В 1937 году в честь А.С. Пушкина, который учился здесь в лицее, а позднее часто бывал, город получил свое нынешнее название.

– Город музеев, парков, один из центров русского искусства и культуры, связанный с именами не только Пушкина, но и Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, а позже – А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилева и др.

пу́шкинцы, пу́шкинец, *устар.* царскосе́льцы, царскосе́лец, царскосе́лка
пу́шкинский, -ая, -ое и царскосе́льский, -ая, -ое

Пушкино (1925). Город в Московской области, возникший на месте селения. Уже в XV веке селение известно как село *Пушкино* на реке Уче. Название антропонимического происхождения, в основе его прозвище *Пушка*, принадлежавшее боярину Григорию Пушке, предку А.С. Пушкина, от которого великий поэт получил фамилию. В основе

прозвища *Пушка* несомненно лежит апеллятив *пушка*, которому традиционно исследователи приписывают значение "тип тяжелого огнестрельного оружия; пушка".

пушкинцы, пушкинец

пушкинский, -ая, -ое

Пушкинские горы (1960). Рабочий поселок Псковской области, входит в состав Пушкинского музея-заповедника. Свое название поселок Пушкинские горы (в прошлом село) получил в 1924 году в связи со 100-летним юбилеем приезда Пушкина в ссылку, в село Михайловское. Здесь в Святогорском монастыре находятся могилы Пушкина и его матери. Словом *горы* в центре и на северо-западе России называют небольшие возвышенности, холмы, а иногда и просто высокие сухие места среди болот, а также высокие, крутые берега рек (в Поочье). Более ранние названия: слобода *Тоболенец* при Святогорском монастыре (по ближайшему оз. Тоболенец) и *Святые горы* – по Святогорскому монастырю. Название имеет форму множественного числа потому, что селение расположено на нескольких горах, холмах. Слово *святой* было широко представлено в топонимии России: мысы *Святой Нос* на Кольском полуострове и в Баренцевом море, озере *Святое* в Мещере, на юго-востоке Москвы и некоторые другие.

пушкиногорцы, пушкиногорец, пушкиногорка

пушкиногорский, -ая, -ое

Пуцино (1966). Город в Московской области. Название прозрачно, объясняется через апеллятив *пуца* "густой, непроходимый лес" или "пустынное, отдаленное место". Слово известно во всех восточнославянских и западнославянских языках, активно в топонимии. Название не имеет никакого отношения к фамилии (прозвищу) *Пуца*, *Пуцин*, хотя оно и известно уже в XVI веке (Веселовский. Указ. соч.).

пуцинцы, пуцинец

пуцинский, -ая, -ое

Пыталово. Город в Псковской области. В XIX веке – это сельцо Пыталово (*Ново-Дмитровское*), видимо, как относящееся к селу Дмитриевское. После 1918 года отошло к Латвии и получило название *Яунтатгале* (т.е. *Новая Латгалия*), поскольку вошло в состав Латгалии – исторической части Латвии. Затем получило новое название – *Абрене*. Как считают исследователи, связано с латышским *абро* "квашня", что в данном случае может обозначать "увлажненный луг". Это слово часто встречается в топонимии Латвии как название лугов, полей, лесов и т.д. (Поспелов. Указ. соч.). В 1945 году селение получило свое исконное имя – *Пыталово*.

пыталовцы, пыталовец

пыталовский, -ая, -ое

Продолжение следует



Большой, Великий, Малый **в географических названиях**

Э.М. МУРЗАЕВ,
доктор географических наук

Такие прилагательные обычны в качестве определяющих компонентов в двух-трехсложных географических названиях. Можно привести сотни, тысячи славянских топонимов с участием этих слов, указывающих на размеры, объемы географических объектов. Кажется, здесь все просто, подобная тема не заслуживает внимания. Думаю, что такая точка зрения ошибочна.

Прежде всего укажу на множественность грамматических форм, что требует какой-то классификации. Предлагаемая классификация выполнена на основе количественных показателей топонимов, указанных в Атласе мира (1954). Подсчитаны те из них, в которых эти прилагательные занимают первое место. Это позволило понять их продуктивность в номинации и относительный вес разных грамматических форм. Всего учтено 1554 названия. Вот как они распределяются.

Прилагательное *большой* (-ая, -ое) сопровождает 952 названия в следующих формах: **большая** образует 314 названий, например, *Большая Елань, Большая речка, Большая Суета*; **большое** (131 название) – *Большое Веретье, Большое Замошье*. **Больше-** в составных топонимах (25 названий): *Большеглубоководское, Большеземельская, Больше-Нарымск*. **Большой** встречено в 397 названиях: *Большой Двор, Большой Лог, Большой Нос, Большой Починок, Большой Узень* и др. **Большие** входят в состав 85 названий, например: *Большие Дворы, Большие Ключи, Большие Куты, Большие Светицы*.

Прилагательное *великий* (-ая, -ое) встречено в Атласе 177 раз. Из них **велика** (14): *Велика Горица, Велика Каменница, Велика Плана, Велика Яблонца*. **Великая** (38): *Великая Мечетная, Великая Губа, Великая Нива*. **Велики** (8): *Велики Гай, Велики Дзял, Велики Извор*. **Ве-**

ликие (14): *Великие Луки, Великие Крынки, Великие Погреба. Великий* (29): *Великий Двор, Великий Враг, Великий Устюг, Великий Хутор. Велико-* (27): *Великовеселое, Великодворский, Великокняжеский, Великополовецкое, Великорусское. Великое* (16): *Великое Озеро, Великое Село. Вельки, велько-* (31): *Велько-Ровно, Вельки-Залужье, Вельки-Кривань.*

Прилагательное *малый* (-ая, -ое) присутствует в 425 названиях. Из них в форме **малая** (164): *Малая Волоковая, Малая Истра, Малая Кыска, Малая Пура, Малая Роговая. Мало-* (32): *Малоархангельск, Маловата, Малогощ, Малодуша, Малоземельская, Малоярославец. Малое* (32): *Малое Болдино, Малое Хантайское, Малое Чебачье. Малые* (23): *Малые Казармы, Малые Карпаты, Малые Озерки, Малые Рожки, Малые Чаны. Малый* (174): *Малый Абакан, Малый Арарат, Малый Балхан, Малый Богдо, Малый Енисей, Малый Падун, Малый Хинган.*

Из приведенных статистических данных видно заметное преобладание в славянской топонимии прилагательного *большой* (с вариантами). Таких топонимов оказалось около тысячи. Прилагательных *малый* (с вариантами) в два раза меньше – более четырехсот. На последнем месте определение *великий* (с вариантами) – менее двухсот, чем объяснить такое неравенство?

Большие географические объекты – реки, горы, озера, населенные места – богаче необходимыми для жизни ресурсами (реки и озера – рыбой, горы – пастбищами, полезными ископаемыми) и потому выделяются как ориентиры. Реки, кроме того, – издревле пути сообщения. В то же время многие незначительные объекты вообще оставались незамеченными, что существенно помогает понять заметный разрыв в номенклатуре топонимов с прилагательными *большой* – *малый*. Но главная причина в том, что названия, оформленные прилагательным *малый* (-ая, -ое), не попали на карты Атласа из-за их мелкого масштаба. В славянских языках слово *большой* отвечает еще многим значениям – "главный, старший, лучший, высший" (Этимологический словарь славянских языков. М., 1977), что также расширяет базу наименований с таким определением.

Последнее место по частотности занимает прилагательное *великий* – "очень большой, выдающийся по каким-либо качествам". Великий человек может не отличаться высоким ростом, размерами фигуры, но обладать редким интеллектом, каким-то талантом. В топонимических образованиях *великий* отвечает понятию *большой*: река Великая в Псковской области, Великий Луг на левобережье Днепра: "Січ-мати, а Великий Луг – бацько" (Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. Киев, 1907), Великий Извор – источник с большим дебитом. *Великий*

еще и "множество": Великая Каменница, Великие Деревичи. Возможно, этому показателю отвечает имя города *Великие Луки*. У Г.П. Смолицкой (Русская речь. 1994. № 6) указывается: "на реке Ловать ниже этого города есть большие и очень крутые излучины". Видимо, такая морфология долины реки и объясняет множественное число топонима, первоначально просто *Луки* без прилагательного *Великие*. Однако В.А. Никонов считал, что: "форма множественного числа не означала множественности объектов, а могла служить лишь средством образования топонима" (Никонов В.А. Краткий топонимический словарь, М., 1966). Любопытно, что на гербе города изображены не одна, а три излучины.

Выделим немногочисленную, но важную для истории нашей страны группу названий: *Новгород Великий*, *Ростов Великий* и совсем небольшой, но сыгравший немалую роль в освоении Сибири, северный город *Великий Устюг*, откуда устюжане-землепроходцы шли на восток вплоть до берегов Тихого океана.

Оппозиция *большой (великий)* и *малый* не всегда присутствует в наименованиях соседних географических объектов: *Большая Суета*, *Велика Яблонница*, *Новгород Великий*, *Великие Луки*. Но как будто нет *Малой Суеты*, *Малой Яблонницы*, *Малых Лук*, *Малого Новгорода*. Правда, есть еще несколько *Новгородов*, но они расположены далеко от *Новгорода Великого* и вне противопоставления ему.

И все же оппозиция определений *большой (великий)* и *малый* наблюдается повсеместно. В качестве примера построим топонимические ряды имен гор, рек, населенных мест с названиями, находящимися в противопоставлении.

Горы: Большой и Малый Хинган, Большой и Малый Балхан, Большие и Малые Карпаты, Большой и Малый Кавказ, Большой и Малый Арарат.

Реки: Большой и Малый Енисей, Большой и Малый Узень, Большой и Малый Абакан, Большой и Малый Кеть, Большая и Малая Лаба, Большая и Малая Кокшага, Большой и Малый Нарын, Большой и Малый Кинель, Большая и Малая Бирюса.

Населенные места: Большая и Малая Вишера, Большая и Малая Ольшанка, Большая и Малая Владимировка, Большая и Малая Липовка, Большая и Малая Уса.

Таких примеров можно привести еще очень много.

Для физико-географических объектов прилагательные *большой* и *малый*, как правило, соответствуют их размерам, в чем сказывается позитивность топонимии. Иное положение в номенклатуре городов и поселков, где иногда наблюдается противоречие. Так, например, Малая Вишера – город, районный центр в Новгородской области, а Большая Вишера отстала в развитии и пока осталась рабочим поселком – при-

мер, подтверждающий консерватизм топонимии. А разве нет парадокса в названии поселка Большие Озерки? Здесь уменьшительное существительное *Озерки* явно противоречит характеристике *Большие*.

Рассматриваемые прилагательные в топонимии представлены, в основном, в мужском роде. Средний род не характерен для топонимии, так же как и множественное число.

Интересные мысли о прилагательных *большой*, *великий* и *малый* в топонимических образованиях высказал академик О.Н. Трубачев. По его суждению, они иногда приобретают совершенно другие значения. *Малая* (-ое) указывает на более раннюю стадию освоения области, страны и старейший возраст географического названия, *большая* (-ое) же – образование более позднее (Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991). Это любопытное положение можно подтвердить несколькими конкретными примерами.

Малая Азия издавна входила в восточный средиземноморский культурный круг. Большая Азия – остальная территория этой части света – стала известна в Европе значительно позже. Макротопоним *Большая Азия* не привился и отсутствует в современной номенклатуре. Большая Шотландия это в прошлом вся Ирландия, а Малая Шотландия – собственно Шотландия. Моравия в Средней Европе как государство – образование более раннее, чем Великая Моравия – царство, возникшее позже, в IX–X веках. Малороссия и Великороссия – названия, ныне не употребляемые. Топоним *Малороссия* известен с середины XVIII века, а *Великороссия* в официальных документах российских ведомств встречается только в XIX. Интересно, что в старом пятитомном географическом словаре П.П. Семенова слово *Великороссия* вообще отсутствует, а Малороссии посвящена большая статья в третьем томе, где "Малороссия – название, приписываемое трем приднепровским губерниям: Киевской, Черниговской и Полесской" (Географическо-статистический словарь Российской Империи. СПб., 1863–1885).

Этот ряд можно дополнить примером Соединенного Королевства Великобритании, объединяющего Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Древнее название – *Британия*, в его основе этноним *бритты*, кельтское племя, населявшее также и материковый полуостров Бретань. Он некоторое время именовался *Малой Британией*. Современный сложный топоним *Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии* совсем новый – он появился в начале нашего столетия, после первой мировой войны.

Вот какие неожиданные аспекты возникают при изучении, казалось бы, ясных по содержанию топонимических образований, включающих прилагательные *большой* и *малый*.

Почему Масленица в Ростов ездила?

В.А. КОРШУНКОВ,
кандидат исторических наук

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах.
Вот жребий наш каков!
Живи, живи, умри – и только что в газетах
Осталось: *выехал в Ростов.*

Автор этих строк – русский поэт И.И. Дмитриев, а его эпитафия датируется 1803-м годом.

Из-за популярности в прошлом веке стихов Дмитриева выражение *выехать в Ростов* стало крылатым. Употреблялось оно в значении: умереть, бесплодно прожив долгую жизнь и не оставив по себе следа. В таком, восходящем к Дмитриеву значении, использовали его П.А. Вяземский, И.Т. Кокорев, В.Г. Белинский, В.Ф. Одоевский.

В известном справочнике Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной "Крылатые слова" (М., 1955) это выражение приводится в развёрнутой форме: "И только что в газетах осталось: выехал в Ростов". Относительно же его происхождения сказано, что это цитата из "Эпитафии" И.И. Дмитриева.

В четвёртом, дополненном издании "Крылатых слов" (М., 1987) указывается и другая версия происхождения этого выражения, восходящая к писателю XIX века Е.А. Салиасу. В повести "Бригадирская внучка" граф Салиас рассказывал, что оно возникло в разговорной речи москвичей в 1771 году, во время поразившей город чумы (моровой язвы). Дескать, тогда вокруг Москвы были установлены карантинные посты, чтобы никого оттуда не выпускать. Москвичи, писал Салиас, «чумового покойника хоронили тайком, в огороде или в подвале, и в случае огласки клялись и божились, что у них в доме покойника никогда не бывало и что исчезнувшее лицо выехало из Москвы. При этом большею частью ссылались на одну из застав, где пропуск из столицы был свободен, по дороге на город Ростов. Всякий раз, когда обыватели заявляли об исчезнувшем лице, что он выехал в Ростов, начальство знало, что человек этот умер и где-нибудь тайком похоронен. И выражение: "выехал в Ростов" осталось навеки в языке, сохранив свой особый подразумеваемый смысл» (Салиас Е.А. Бригадирская внучка. М., 1904. С. 14–15). Приведя это толкование, Ашукины высказывают вполне обоснованное сомнение: "Почему происхождение этого выражения(...) связано с заставой по дороге именно на Ростов,

Салиасом не объяснено. По официальным данным, выезд из Москвы тогда был разрешён из семи застав". И дают ссылку на опубликованное в Москве в 1775 году "Описание моровой язвы...".

Версия Салиаса, однако, принималась Ю.А. Гвоздарёвым ("Пусть связь речений далека...". Очерки по русской фразеологии. Ростов-на-Дону, 1982. С. 110–111). Согласно Ю.А. Гвоздарёву, Дмитриев в "Эпитафии" использовал уже бывшее на слуху выражение.

В свою очередь С.А. Коваленко в книге "Крылатые строки русской поэзии: Очерки истории" (М., 1989. С. 63–64) возводит его к стихам Дмитриева и только, не упоминая о Салиасе вообще. И не указывая на статью В.Д. Бояркина и Л.И. Степановой.

Эта статья под названием "Масленица в Ростов поехала" была напечатана ещё в 1986 году во 2-м номере "Русской речи". В ней очень убедительно доказывалось, что выражение *выехать в Ростов* звучало в Московской и Ярославской губерниях задолго и до Дмитриева, и до московской чумы. Используя, главным образом, помещённые в книге В.К. Соколовой "Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов" (М., 1979) фольклорно-этнографические материалы, привлекая и русский лубок XVIII века, В.Д. Бояркин и Л.И. Степанова показали, что такие слова были частью расхожего обрядового приговора в день Прощёного воскресенья, когда провозжали Масленицу. Проводы Масленицы, как известно, зачастую устраивались в виде шутейной похоронной процессии. На санях везли чучело Масленицы, а затем все участники обряда набрасывались на "гостью Масленку" и с криками, с улюлюканьем её растерзывали. А иногда – сжигали. В этот-то день кое-где и приговаривали, что Масленица не может больше оставаться здесь, она уезжает – "домой", "в Ростов" или же "в Ростов на ярмарку". Соответственно существовало представление и о том, что к началу праздничной недели Масленица приезжает с базара. Поскольку проводы Масленицы завершались её полным исчезновением – так сказать, гибелью всерьёз, – то выражение *поехать в Ростов, уехать в Ростов* приобрело значение "умереть". Дмитриев, используя глагол совершенного вида *выехать*, придал ему форму печатавшихся в те времена в газетах сообщений об отъезжающих из того или иного города лицах. С его стихотворением простонародная устойчивая обрядовая формула вошла в литературный обиход, и у фразеологизма появился дополнительный оттенок: "умереть, прожив бесславную, пустую и долгую жизнь".

Почему же в масленичных приговорах и в обрядовых песнях упоминается Ростов, а точнее – ростовская ярмарка? В.Д. Бояркин и Л.И. Степанова в этой связи указывали, что ярмарка в Ростове Великом была одной из древнейших и крупнейших. Действительно, Ростов в старину был значительным торговым центром. В 27-м томе

"Энциклопедического словаря" Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона сказано, что "ростовская ярмарка в давние годы славилась своею торговлею, имела оборотов на 10 милл. р.". А по поводу торговли во всем Ростовском уезде там говорилось, что "местная торговля очень оживлённая", в четырёх местах уезда имеется шесть ярмарок (то есть ежегодных торжищ), а кроме того – немало и еженедельных базаров (СПб., 1899. С. 136; 137–138).

Однако само по себе значение ростовских ярмарок и базаров ещё не является исчерпывающим ответом. Причём здесь Масленица? Зачем ей было ехать в Ростов на ярмарку?

На первой неделе наступающего вслед за Прощёным воскресеньем Великого поста русские люди имели обыкновение "поминать Масленицу". Обычно такие "поминки" (*тужилки*) устраивались на следующий же день – в Чистый понедельник. В книге И.П. Калининского "Церковно-народный месяцеслов на Руси", впервые вышедшей в 1877 году, про это сказано так: "Очищение это состоит главным образом в том, что теперь простой наш народ совершает по масленице тужилки, которые сопровождаются так называемым полосканием зубов (то есть выпивкой. – *В.К.*), кулачными боями для вытряхивания блинов, мытьём в банях и т.п. После этих обрядов все поздравляют друг друга с наступающим постом" (М., 1990. С. 171). Другой знаток старых обычаев А.А. Коринфский в своей книге 1901-го года "Народная Русь" писал: «И теперь ещё справляет "немецкую масленицу" русский люд, вдоволь не успевающий нагуляться за неделю. Так говорят в народе об опохмеляющихся в Чистый понедельник гуляках. "Широка река Маслена: затопила и Великий Пост!" – добавлялось порою при этом, словно в оправдание запаздывающим весельчакам, доедающим в первый постный день оставшийся "поганный кусок" и "полощущим рот" недопитым вином... Но и справившие "прощанье-воскресенье" по всем заветам христоролюбивых праотцов едят в это время блины – постные, с конопляным либо с подсолнечным маслом. Это называется – справлять "тужилку по честной госпоже Масленице"» (Смоленск, 1995. С. 157–158). А иной раз поминками называли и Прощёное воскресенье. Русские жители Башкирии, возвращаясь в субботу на масленичной неделе из гостей, пели:

Масленица, масленица,
Широкая масленица!
По тебе завтра, Авдотьюшка,
Поминки будут,
Кисель да блины,
Пшеничны горячи пироги!

(Брянцева Л.И. Русские обряды и обрядовый фольклор зимнего календаря // Фольклор народов РСФСР. Вып. 12. Уфа, 1985. С. 47).

Сами эти выражения: *тужилки; поминки; помянуть Масленицу* – явно относятся к пародийной погребальной символике проводов Масленицы. Кстати, в Прощёное воскресенье был обычай ходить на кладбище к родным могилкам. А на Чистый понедельник во многих местах России устраивались кулачные бои. Так что если рассматривать обряды Прощёного воскресенья в их связи с последующей тужилкой по Масленице, то выявляется интересный обрядовый комплекс: проводы-похороны, посещение могил, а следом, несмотря на пост, – угощение с выпивкой и кулачные бои, то есть что-то напоминающее тризну – погребальный пир и ритуальные состязания у могилы. Такое сочетание похоронно-поминальной обрядности с ритуальным весельем, включающим игрища и побоища, характерно для языческих похорон, а также для некоторых древнейших календарных обрядов вроде вятской Свистопляски – для тех, которые имеют отношение к смерти, похоронам, поминкам.

Иной же раз тужилка по Масленице отмечалась не в понедельник, а в субботу первой недели Великого поста. И тогда, через шесть дней после завершения праздника, главными становились не кулачные бои, а блины – та самая еда, по своей сути поминальная, которой славилась Масленица. Разве что на постном масле. Вот об этой-то субботней тужилке И.П. Сахаров в известной своей книге "Сказания русского народа", впервые вышедшей в 1840-е годы, писал: "В старину справлялась тужилка во всём разгуле на ростовской ярмарке" (Сахаров И.П. Сказания русского народа: Народный дневник. Праздники и обычаи. СПб., 1885. С. 225). Те же сведения приводит автор опубликованной в 1880 году книги "Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия" М. Забылин. На стр. 48 читаем: "Этот обычай существует и по сие время не только в отдалённых провинциях, но даже в обеих столицах России между купцов и мещан, а особенно хорошо этот обычай оживляется в Ростовской ярмарке".

Значит, Масленица в день Прощёного воскресенья спешила в Ростов для того, чтобы в следующую субботу можно было там, на ярмарке, её помянуть. Помянуть хоть и постным блинком, да со всем купеческим размахом.

В последний день Масленицы, когда горели погребальные масляничные костры, взрослые говорили детям, что в этом огне сгорает вкусная, но запретная на время Великого поста, скромная пища: масло, молоко и прочее. При этом в некоторых, даже и удалённых от Ростова, местностях приговаривали так: "Молоко в Ростов улетело" или: "Молоко сгорело, в Ростов улетело" (Агапкина Т.А., Топорков А.Л. К проблеме этнографического контекста календарных песен // Славянский и балканский фольклор. М., 1986. С. 78; Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 255). Так что упо-

минание о Ростове в день Прощёного воскресенья было устойчивым и распространённым.

На время Великого поста приходились древние, приуроченные к марту, обряды встречи весны и птиц. Они постепенно становились детским развлечением – впрочем, это происходило и с Масленицей. Любопытно, что слова о поездке в Ростов даже на этой, фольклорной стадии могли уже отрываться от масленичных приговоров и звучать, к примеру, в детской песенке-веснянке:

– Кулик-весна!
 На чём пришла?
 – На кнутике,
 На хомутике.
 – Покинь сани,
 Возьми воз!
 Мы поедем под Ростов
 Весне поклониться,
 Из родничка напитокъ.

(Науменко Г.М. Дождик, дождик, перестань! Русское народное музыкальное творчество. М., 1988. С. 37). В этой песенке, помимо обычных весняночных мотивов, ощутимо влияние и традиционных детских закличек, обращённых к дождю: "Дождик, дождик, перестань! / Мы поедем на иордань, / Богу помолиться, / Христу поклониться..." и т.д. (Мудрость народная. Вып. 1: Младенчество. Детство. М., 1991. С. 243).

Ну а масленичные запевки про поездку в Ростов тоже исполнялись далеко за пределами Московской и Ярославской губерний. Одинаков текст двух песенок, одна из которых записана вблизи от Ростова Великого, а другая – в Омской области от К.С. Сердюк, чьи родители были родом с Черниговщины:

Масленица постов.
 Поезжай в Ростов!
 Покупай хвостов
 На шубки, на юбки.
 На пуговки.

(Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия. Л., 1984. С. 102; Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. Новосибирск, 1981. С. 161–162).

А в Новосибирской области от Ф.Ф. Семиренко, родители которого тоже жили в Черниговской губернии, записана такая масленичная песенка:

Ох, и масленка-гологузка,
 Эх, масленка-гологузка,
 Эх, проводили тебе до Курска... и т.д.

(Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. С. 169).

Очевидно, в одном и том же месте Украины были разные варианты масленичных песен: то Масленицу направляли в Ростов за покупками, то её провожали в Курск. Ясно, что выражения *уехать в Ростов*, *поехать в Ростов* и т.п. распространялись вместе с традиционными фольклорными текстами от Украины до Сибири. Курское же направление понятно: к Черниговщине Курск поближе, да и обычный бранный эпитет Масленицы в этом случае зарифмовывается.

Примечательна народная уверенность в пристрастии Масленицы к местам торговли: с базара она приезжает, на ярмарку – либо к себе домой, либо за покупками – уезжает. Торговыми днями бывали пятницы. Недаром кое-где и в Центральной России, и в Поволжье Масленица к началу праздника появлялась вместе с возвращающимися с базара – в пятничный вечер или в субботу (Соколова В.К. Указ. соч. С. 83. Прим. 3, 4). Торговле покровительствовала святая Параскева-Пятница, иногда именуемая Прасковеей. Святая Параскева получила на Руси прозвище *грязная* или *грязнуха*. Когда Параскева-Пятница приходила наказывать тех баб, что пряли и ткали по пятницам, она являлась в виде растрёпанной женщины в рубище, в дрянной, со множеством дыр, одежке. А для масленичных костров собирали по деревне всякий хлам и старьё. И само чучело Масленицы тоже обряжали в разную ветошь и рванину. Параскева-Пятница зачастую представлялась полуобнажённой или даже нагой. А живой человек, изображавший Масленицу (вместо чучела), паясничая, заголялся, да и в обрядовых песнях Масленицу обзывали *гологузкой* и ещё похлётче. Так что отъезд в Ростов на ярмарку проясняет некоторые особенные черты образа Масленицы, сближающие её с бабьей святой – Параскевой-Пятницей.

Итак, задолго до того, как слова о поездке в Ростов использовал в своей "Эпитафии" Иван Иванович Дмитриев, они звучали в масленичных приговорах и песнях, переходя из них в другие виды народной поэзии. По этому образцу создавались схожие варианты фольклорных текстов, где упоминались иные города. А по своему происхождению это выражение местное, связанное с ростовским ярмарочным обычаем "тужилок по Масленице", но оно широко разошлось по самым отдалённым местам страны. Подобная же судьба и у другого локального по происхождению фольклорного вопросительного приговора: "Видишь Москву?" В старину он был частью подмосковной обрядовой игры в день Вознесенья, а сейчас эти слова сопровождают повсеместно довольно жестокою забаву, когда верзила-переросток, схватив того, кто помладше и послабее, тянет его за уши кверху с таким издевательским вопросиком...



***Свадебный приговор
при выносе "дэвьяй красоты"
в Костромской области***

Дэвья красота – мифологический, поэтический и обрядовый двойник невесты. Для среднерусской свадьбы это верхушка или пушистая ветка ёлки (а также сосны, берёзы или другого растения), украшенная лентами, бусами, горящими свечками, иногда с прикреплённой к ней куклой. Деревце символизировало молодость и красоту невесты, с которыми она прощалась навсегда. Красотой также могла быть девичья коса невесты, её головной убор (венок, коруна, повязка, лента) и проч.

В общерусской традиции дэвья красота – элемент девичника, вечера в доме невесты накануне свадебного дня. Этот обряд сопровождался причитаниями (на Севере) или грустными, элегическими песнями (в Центральной России). В Костромской области лирическая сторона соединилась с игровой ("выкуп" ёлочка, а фактически – самой невесты), что потребовало иного поэтического оформления. Вынос ёлочка стал сопровождаться большим приговором, который оформлял ритуал, идеализировал всю обстановку и участников свадьбы, юмористически разряжал сложную психологическую ситуацию.

Свадебные сценки, посвящённые выкупу места рядом с невестой, её косы, или, как в данном случае, ёлочка – отзвук одной из ранних форм брака, когда жених должен был заплатить за невесту вено, аналогичное калыму у мусульман. Такой брак, именуемый "куплей-продажей", существовал, по-видимому, у полян. Его отзвуки сохранил ещё один ритуал – рукобитье: жених и отец невесты "били по рукам", словно заключая торговую сделку ("У вас товар, у нас купец").

Девичник (*девичник*) – праздник только невесты и её подруг. "Выкуп" красоты потребовал разрушения этой традиции: на девичнике стали присутствовать жених, его родственники и друзья (с. Покровское Островского р-на). В других местах красоту выносили на сговоре,

утром свадебного дня (после приезда женихова поезда) и даже за свадебным столом после венчания.

Ёлочку выносила одна из девушек, она же произносила приговор. В построении приговора естественно возникала импровизация (ср. публикуемые два варианта), однако стержень был единый. Приговор начинался со вступительной части, в которой возвышенно изображалась обстановка горницы. Затем говорилось приветствие поезжанам. Главной героиней была ёлочка. Ей посвящалась эпическая вставка (рассказ о том, как подруги невесты добывали и украшали ёлочку), затем ёлочку величали и зажигали на ней свечи. Далее совершался обход присутствующих и требование платы за ёлочку. Начинали с жениха, затем обращались к друзьям, свахам, сродничкам. Приёмы, которыми достигалось "одаривание" красоты, были разные: например, загадывали загадки; но особенно часто играли рифмованными словами – рифма требовала одаривания. Каждый одаривающий гасил свечку. Когда все свечи были погашены, девушка, произносившая приговор, обращалась к невесте. Она говорила о неизбежном расставании с красотой и об утрате невестой навеки её девичества. Ёлочку выносили из избы, невеста плакала.

Приговор – рифмованное или ритмизованное поэтическое произведение. Композиционно приговор состоял из монолога, однако обращения к участникам ритуала приводили к возникновению диалогических форм и придавали приговору характер драматического представления.

Читательскому вниманию предлагаются два архивных текста – варианты свадебных приговоров при выносе дёвсьей красоты. Они были записаны в 1980-х годах во время экспедиций студенческого фольклорного кружка Московского педагогического государственного университета (тогда МГПИ им. В.И. Ленина) в Костромскую область. Руководители – преподаватели кафедры русской литературы Б.П. Кирдан и Т.В. Зуева.

Вот начинаются сговоры. Садятся за стол, закуска была. Закусывают, а потом выносят ёлочку. А ёлочку – подруги сходят в лес, и срубят, и наряжают. Наряжают лентами и свечи зажигают. И наверх ёлки сажают куклу (какую найдут)¹. Подругу наряжают в белое платье, и выносит она ёлочку. Она выносит ёлочку и наговаривает:

¹В ломаных скобках (здесь и далее) даны пояснения собирателей, в круглых – информантов.

Встаю я, девица,
На скоры ножки,
На сафьянны сапожки,
На нолужёные гвоздочки,
На медные скобочки,
На вострые носочки.
Иду я, девушка,
Не одна я иду –
Зелёную ёлочку несу.
На зелёной ёлочке
Золоты игопочки,
Восковые свечки,
Шелковые ленточки.
Иду я, девица,
Ко столам ко дубовым,
Ко скамеечкам кленовым,
Ко скатертям браным,
К наестьицам сахарным,
К питьям медяным (то есть медовым),
К рюмочкам гранёным,
К ножичкам булатным
И ко всем гостям приятным.
Среди пола становлюсь,
Всему честному поезду поклонюсь:
Здравствуйте, князь со княгиней,
И все гости приезжие,
Соседи любезные.
Моя подружка, Мария Михайловна,
Дайте знать,
Как вашего наречённого назвать,
По имени, по отчеству различать?
(Невеста скажет: "Василий Иванович").
Василий Иванович,
Отчего у нас ёлочка зеленая?
(Жених растеряется и не знает, что сказать).
Оттого она зеленая,
Потому что Мария Михайловна молодая.
Действительно, молода и красива,
Мы вам отдали за одно "спасибо",
А вы у нас взяли
И "спасибо" не сказали.
(Потом:)

Сватушки, скажите кто-нибудь из вас "аминь"!
(Скажут "аминь").

На "аминь"-то мы вас благодарим,
Да мы вас ещё поговорим.
Вот вам последнее словечко:
Где вы, сватушки, были-пребывали?
Мы вас долго дожидали,
В зелёном саду гуляли,
По башмачкам истоптали,
По чулочкам изорвали,
По перчаткам изорвали,
По колечечку сломали,
Всё Марию Михайловну собирали.
Мария-то Михайловна у своих-то родителей
Жила да красовалась,
Слезами не умывалась.
У окошечка сидела,
Шитьице вышивала,
Окошечко открывала,
Канареечку манила.
Канареечки прилетали,
К ней же подставали.
Так же и вы:
Тешьте да нежьте,
Водите почище,
Кормите послаще.
У нашего хозяина
Тропочка приметена (от "приметить"),
У нас девушка нанята.
Вот вам последнее словечко:
Подарите мне на золотое колечко.
Скажу я словечек пяток –
Подарите мне на шёлковый платок.
Сватушка, у которого красная рубашка, –
Кладите пятирублёвую бумажку;
А в голубой –
Кладите по другой.
А кому сварёбка в честь –
Кладите рубликов шесть.
Не три, дак четыре,
Не четыре, дак три.
Не рубль – так полтинник,

Не полтинник – четвертак,
Не погасите свечек так.
Свечки гасите –
Денежки кладите,
Нас, красных, осеребрите.
Сватушки, глядите вы не в кут, а на нашу куклу.
Наша кукла – плут,
Она не смотрит в кут,
А смотрит тут:
Все ли сватгья-сватушки тут
И все ли денежки кладут.
Мария Михайловна,
 куды дёвью красоту девать:
На стол становить, или обратно нести?
 (Она говорит: "Ставь на стол").
Ставлю я дёвью красоту
 перед милой подружкой,
Перед Марьей Михайловной.
Столики дубовые не покачните,
У нас дёвью красоту не уроните,
Нашу милую подружку не распилите (так!).

Поставят на столы, а потом погасят свечки, эти денежки лежат.
Когда все столы обойдёшь, станешь посередь пола и говоришь:

Мария Михайловна,
Пошла твоя дёвья красота,
Пошла – рассердилась,
С тобой не простилась,
Дверям шибко хлопнула,
У дверей шибко топнула.
Подошла к сухому дереву:
"Дерево, дерево,
Не бывать тебе два раза зелёным,
А тебе, Мария Михайловна,
Не бывать два раза в девушках".

Записали Е.В. Полуянова, М.М. Максимова и Н.Н. Зувев 15 августа 1986 года в д. Григорово Галицкого р-на Костромской области от Т.Н. Чернявовой, 1916 г.р. [Тетр. 1986 – эксп. – 1. – N 121].

Белая берёзонька раскожлева́лася
 (распушилась, зазеленела),
 Дёвья краса́та поднималася:
 От печки от кирпичной,
 От столбика от стоячего,
 От брусика от лежа́чего,
 От занавесочки от шелко́вой,
 От травоньки подкоше́ной,
 От девушки сговорёной.
 Пораздайся, народ,
 Порасступися, народ,
 Красны девицы идут.
 Не одни они идут –
 Дёвью краса́ту несут.
 По полу иду, по тесовому иду,
 Помаленьку ступаю, половички считаю.
 Ко столику подхожу, ко дубовому подхожу,
 Ко скатертям ко браным,
 Ко напитоккам медяным,
 Ко яствам сахарным,
 Ко тарелочкам золочёным,
 Ко вилочкам точёным,
 К ножичкам булатным,
 К вам, сватушкам, приятным.
 Сватушки и свахоньки, гости дорогие!
 Где же вы ехали? Путём ли-дорогою?
 Чистыми полями,
 Зелёными лугами,
 Тёмными лесами.
 Оставили вы коней при чистом поле.
 Искали селенье –
 Медвёдок деревню,
 Искали терема́ –
 Дмитрия Ивановича двора.
 У вашего-то сватушки, у нашего-то Дмитрия
 Ивановича
 Под окошечком-то сад,
 Во саду два древечка стоят.
 На первом древечке кукушечка кукует,
 На втором-то древечке соловушка свистит –
 Василий Иванович (жених) за столиком сидит.
 Это не кукушечка кукует,
 А Анна Дмитриевна (невеста) за столиком
 горюет.
 Анна Дмитриевна – за стол,
 А дёвья краса́та – на стол.
 Дёвья краса́та становится –

Против дела говорится.
Сватушки и свахоньки, гости дорогие!
Позвольте нам сказать, а вам выслушать.
Мы по ёлочку ходили,
Ручкам с ножкам признobili,
По перчаткам изодрали,
По чулочкам истоптали.
Мы надеялись на вас, что заплотите за нас.
Хошь и вам-то беспокоино,
Да мы просим покорно.
Сватушки и свахоньки, гости дорогие,
Поезжане молодые!
Мы дёвью красоту рядили,
Время проводили,
Всю неделю меледили (проводили время):
Понедельник совет советовали,
Во вторник на рынок гулять ходили,
В среду алых ленточек купили,
В четверг пивушко варили,
В пятницу банюшку топили,
В субботу париться ходили,
В воскресенье дёвью красоту рядили.
На крылечко выходили,
Ко сырой земле припадали,
Стуку-бряку ожидали:
Не едут ли кони вороные?
Не машут ли уздами золотыми?
К вашему-то сватушку, к нашему Дмитрию
Ивановичу на широкий двор?
У вашего-то сватушка, у нашего Дмитрия
Ивановича

Под окошечком-то сад,
Во саду-то виноград.
Ваша-то невестушка, наша-то подруженька
По саду гуляла.
Под яблоньку вставала,
Моего голосу пытала.
Я, подруженька, вожжалелася:
Во зелёный сад вошла,
За праву рученьку взяла,
В нову горенку ввела,
Под окошечко посадила,
Дёвью красоту сорядила,
Сорядила-собрала,
На показ людям несла.
Хороша наша дёвья краса.
Разнарядно она нарядна,

Алым ленточкам разувешана,
 Разным бантикам разубантина,
 Дорогим камням разукрашена,
 Восковым свечам разоставлена.
 Алы ленточки алели,
 Разны банты голубели,
 Дороги камни разливались,
 Восковы свечи разжигались.

(Все свечи зажигают).

Сватушки и свахоньки!
 Всем вам по низкому поклону.
 Но не всем поимянно, а всем вообще.
 Дружка молодой
 С широкой бородой,
 Щёчки литые,
 Кудерьки витые,
 Пуговки золотые, –
 Дайте нам знать,
 Как новобрачного князя назвать.

(“Василий Иванович”).

Кланяться пониже,
 За то пониже, что дёвья красаота поближе.
 (Подвигают дёвью красаоту ближе).

Василий Иванович,
 Верхнюю свечечку погасите –
 Тарелочку позолотите,
 А не позолотите –
 Так посеребрите,
 Не посеребрите –
 Так бумажкой окладите.
 А бумажки не в моде –
 Ложьте медницей боле.
 Класть-то кладите,
 У тарелочки края не ошибите:
 Края-то окрбшатся –
 С вас-то больше спросится.
 У вашего-то сватушка, у нашего Дмитрия
 Ивановича

Под лавочкой-то стружки –
 Положите и вы, дружки.
 А во дворе-то кони вороные –
 Положите, кавалеры холостые.
 У вашей-то свахоньки, у нашей-то Анны
 Ивановны (мать невесты)

На полочке-то пряжи
 (лён пряжи, привяжут кудели) –
 Положите и вы, свахи!

У вашего-то сватушка, у нашего-то Дмитрия
Ивановича

На крыше-то жёрдочки–

Уж положите и наши сроднички.

Василий Иванович, верхняя свечечка
неясно горит –

В тарелочку повторить велит.

Сватушки и свахоньки и наши сродники,

У вас там и тулупы до пят –

Повторите в тарелочку опять.

Сватушки и свахоньки, гости дорогие!

Была бы вам всем честь,

Кабы вы налбжили на каждую девушку
по рубликов шесть.

Кто положит грош, того возьмёт дрожь.

Кто положит копейку, у того жена злодейка.

Кто положит семитку, того выведем за калитку.

Кто положит пятак – возьмите обратно
себе на табак.

Василий Иванович, верхнюю свечечку залепите,

А нас, девушек, в последнее подарите.

(Жених залепляет бумажкой – деньгами).

Дёвья красота со стола, дак со стола.

А Анна Дмитриевна (невеста) со двора, дак со двора.

Со двора она сходила,

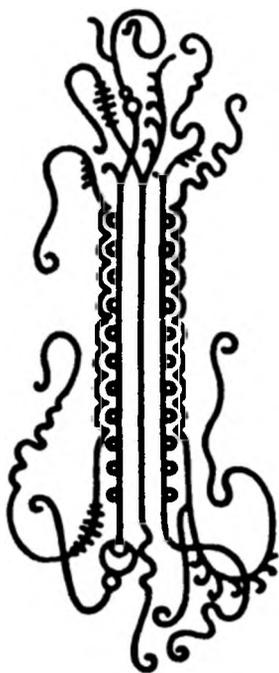
Дёвьей красоты не находила.

Не нашла и не нашла,

Сама заплакала, пошла.

Записали Е.А. Самоделова и А.В. Каравашкин 26 июля 1983 года в с. Покровском Островского р-на Костромской области от Н.Г. Сизовой, 1901 г.р. [Тепр. 1983 – эксп. – I. – № 226].

Публикацию подготовила **Т.В. Зуева**,
доктор филологических наук



Слова с корнем *рух-* в русском языке

В. В. МИТИН

В современном русском языке слов с корнем *рух-* немного. Например, А.Н. Тихонов в "Словообразовательном словаре русского языка" (М., 1990) выделяет лишь *рухнуть*, *рухнуть* и *разруха*. Однако в истории русского языка, кроме этих слов были употребительны и другие. Об этом свидетельствуют летописи, тексты деловой письменности, житийная, религиозная и художественная литература, различные исторические словари. Одни из этих слов впоследствии утратились, другие же продолжают использоваться и сейчас, но уже в ином, более привычном для нас значении.

В древнерусском языке, как отмечают "Материалы для словаря древнерусского языка" И.И. Срезневского, были употребительны слова *рухо* и *рухло*, которые выступали в качестве синонимов со значе-

нием "движимое имущество, пожитки". Случаи употребления *рухо* малочисленны, оно встречается чаще всего в переводных памятниках религиозного содержания: "И не възлагаим руха на ся, его же не можем понести" (13 слов Григория Назианзина. XI в.).

Известно, что при составлении религиозных произведений слова часто употребляются в переносном смысле, поэтому в этих текстах *рухо* могло приобретать и переносное значение – "какая-либо нравственная обязанность, которую человек должен выполнить". Однако с такой целью *рухо* употреблялось редко, потому что в церковной письменности существовала традиция передавать понятие "нравственная обязанность" более употребительным словом *бремя*: "Бремя мое льгко есть" (Остромирово евангелие. 1056–1057 гг.; Евангелие от Матфея. 11, 13). Следует отметить, что церковнославянское *рухо* встречается также в большинстве современных славянских языков, хотя в некоторых из них является устаревшим: *рѹхо* (болг.) "устар. одежда, платье, лохмотья"; *рухо* (с.-хорв.) "одежда, платье"; *rucho* (словацк.) "убор; внешний облик"; *roucho* (чешск.) "церковное облачение священника"; *rucho* (польск.) "устар. облачение (церк.); женское покрывало"; *ruho* (словен.) "полотно, простыня".

Редкое употребление *рухо* в древнерусских памятниках объясняется вытеснением его более распространенной синонимичной формой *рухло*, которая часто отмечается в источниках XI–XV веков. *Рухло*, как и существительное *рухо*, служило не только для обозначения движимого имущества, пожиток, но использовалось также для выражения понятия "нравственная обязанность": "Аще бо и благо новѣи ярем и рухло льгко" (13 слов Григория Назианзина). Кроме того, это слово могло употребляться и с конкретной семантикой "груз": "Аще ли ключится тако же проказа лодѣи Русеи, да проводим ю в Рускую землю, и да продають рухло тоя лодѣи" (Повесть временных лет. Второй договор великого князя Олега с греками 911 года. XII в.). В единичных случаях *рухло* встречаем в значении "товар": "Рухла им никто же не купуесть" (Иполита епискуна съказания о Христосе и о антихристе. XII в.).

В XIV–XVII века в летописях, текстах религиозного содержания это слово по-прежнему используется для обозначения движимого имущества, пожиток, груза. Например, в XIV веке первое место по числу употреблений *рухло* приходится на книги Священного Писания: "Все рухло да плениши себе" (Пятая книга Моисеева. Второзаконие. 20, 14). В XVI–XVII веках его значение сужается. Оно начинает иметь более конкретный смысл "совокупность предметов, вещей домашнего обихода, мелкое имущество, личные вещи": "Была у меня у Никиты у Пречистыи Богородицы в казне поставлена с рухлом коробеика и я ту

свою коробеику взял в то ему и отпис дал" (Акты Успенского Тихвинского монастыря. Кон. XVI в.).

В деловой письменности с конца XV века существительное *рухло* начинает вытесняться более популярным разговорным словом *рухлядь*, имевшим такое же значение: "движимое имущество, пожитки". В XVIII–XIX веках *рухло* становится устаревшим, поэтому "Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный" (СПб., 1806–1822), указывая значение слова *рухло* (стар. То же, что рухлядь), приводит в качестве примера употребления цитату из "Степенной книги" (сер. XVI в.): "Семь пушек и взяша рухла множества". Таким образом, к концу XIX века *рухло*, вытесненное из живого употребления словом *рухлядь*, полностью уходит из словарной системы русского языка, становится старинным и в настоящее время прочно забытым словом.

Судьба слова *рухлядь* в русском языке оказалась наиболее интересной (см. подробно историю этого слова: Смолина К.П. "Рухлядь – богатство, рухлядь – старье" Русская речь. 1981. № 3). Существительное *рухлядь* образовано от слова *рухло* с помощью суффикса *-ядь*. Этот суффикс позволял словам передавать собирательное значение, когда нужно было отметить множество предметов или живых существ. Например, *гов-яд-о* "скот", потом "бык"; *чел-яд-ь* "слуги, рабы" и т.д.

В XV–XVIII веках слово *рухлядь* использовалось очень широко, поскольку было способно передавать различные смысловые оттенки: оно употреблялось для обозначения движимого имущества вообще, но могло иметь и более конкретную семантику – "имущество, используемое в том или ином обиходе" (например, пожитки – мелкие вещи домашнего обихода). В первом значении *рухлядь* могло употребляться с прилагательными, которые указывали на качество имущества. Например, *купеческая рухлядь*, *разбойные и татинные рухляди*, *воровская рухлядь*, *опальные рухляди*, *посольские рухляди*, *краденая рухлядь*, *платеная и рубашеная рухлядь*. Однако более часто слово использовалось во втором случае, с конкретной семантикой. Здесь *рухлядь* употреблялось в сочетаниях с прилагательными, которые указывали на местоположение вещей и сферу их использования: *рухлядь повареная*, *рухлядь клетная*, *рухлядь избная*, *подворенная рухлядь*, *возничья рухлядь*, *трубнича рухлядь*, *служилая рухлядь*.

Известно также устойчивое сочетание *мягкая рухлядь*. Оно до середины XIX века являлось юридическим термином и имело значение "меха, пушной товар": "Мягкая рухлядь: 2 пары соболей, цена 2 рубля; 25 куниц..., 2 лисицы красных... бобрник ярой... ожерелье бобровое... 2 меха белые хребтовые... мех черева белые..." (Опись имущества Татищева. 1608 г.). В XV–XVI веках слово *рухлядь* использовалось так-

же для вещей, служащих товаром (значение "товар"). В дальнейшем, однако, это значение не закрепилось, не выдержав конкуренции со словом *товар*, употреблявшимся в том же смысле: "А кто, купя с гостина двора, повезет юфтями лосины, лисицы, песцю... и всякую мелкую рухлядь, имати с того человека... с рубля по полуденге" (Таможенные грамоты Ивана Филатова. 1586 г.).

В XVIII веке *рухлядь* все больше используется в узком, конкретном значении "вещи домашнего обихода, всякая домашняя утварь", а с начала XIX оно отмечается "Словарем Академии Российской, по азбучному порядку расположенным" как основное.

Новый этап в истории слова наступил в XIX веке: "Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар" (Пушкин. Дубровский. 1833). В данном примере *рухлядь* – это "всякая домашняя утварь". Однако в этом же романе встречается и другое использование слова – "ветхая, изношенная одежда": "Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплакою...". В романе И.А. Гончарова "Обломов" *рухлядь* употребляется уж совсем в привычном для нас значении "пришедшие в ветхость вещи, одежда; старье": "Агафья Матвеевна сидела на полу и перебирала рухлядь в старом сундуке: около нее лежали груды тряпок, ваты, старых платьев, пуговиц и отрезков мехов". Таким образом, смысл слова *рухлядь* приобретает резко отрицательный оттенок.

Что же содействовало такому изменению? Как отмечает К.П. Смолина в книге "Лексика имущественной сферы в русском языке XI–XVII вв." (М., "Наука", 1990), важную роль здесь сыграло слово *рухлядишко* (ср. род), в котром суффикс *-ишк* выражал дополнительную уничижительную оценку. Употребление этого слова особенно важно было в деловых документах (челобитных, частных письмах-просьбах), когда создавалась необходимость вызвать жалость, сострадание, снисхождение. При этом подчеркивалась малость, ветхость, негодность имущества. Слова с суффиксом *-ишк* употреблялись, как правило, в начале и в конце челобитных: "Государю ц. и в.кн. Федору Ивановичю в Р. бьет челом холоп твой Сенка Емельянов. У меня, холопа твоего, в твоей государеве опале, по моей вине, животишка, вся взяты без остатка. Окромe того твоего государева жалованья нет у меня, холопа твоего, ничево, ни рухлядишки..." (Посольство князя Василия Васильевича Тюфякина. 1595–1598 гг.). Постепенно этот оттенок значения стал создаваться и у слова *рухлядь* "вещи домашнего обихода, не имеющие определенной ценности". Сейчас *рухлядь* в смысле "пришедшие в ветхость вещи, одежда; старье" чаще всего используется для выражения осуждения предмета, презрительного к нему отношения.

Не менее известные нам слова *разруха*, *рухнуть* и *рухлый* начинают

употребляться в письменных памятниках очень поздно. Одно из первых использований слова *разруха* со значением "смута, междуусобица" можно встретить в начале XVII века: "А в московскую розруху розграблено: на конюшне коней и конских нарядов... и в Конюшенном Приказе денег, с 30000 рублей" (Расходы царской казны. 1611–1612 гг.). В смысле – "смута, раздор, несогласие" слово, по-видимому, использовалось до XIX века. Так, В.И. Даль в "Толковом словаре живого великорусского языка" отмечал, что в это время *разруха* со значением "разрыв, конец миру, согласию, дружбе; раздор, несогласие, вражда или война" является уже устаревшим: "Сами меж себя разруху творят". Между тем в XIX – начале XX веков слово употребляется в новой семантике "разрушение, превращение в развалины; то, что рушилось или рухнуло": "Уж коли начнет валиться твой ветхий дом, коли пошатнулись стены, – так плечом его не поддержишь; тебя обнял страх, а тут идет разруха – трещат бревна да балки, из пазов выщепляясь, – гнило, брат, дело!" (Погосский. Господин Колодник). В современном русском языке данное слово используется, главным образом, со значением "полное расстройство, развал, преимущественно в хозяйстве, экономике": "Двор стоял разгороженный, амбара не было и в помине, и все в хозяйстве являло мерзостный вид разрухи" (Шолохов. Тихий Дон).

Глагол *рухнуть*, с которым в современном русском языке соотносится существительное *разруха*, имеет значение "обвалиться, упасть с шумом, разрушаясь; обрушиться": "Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли" (Пушкин. Дубровский). В этом слове глагольный показатель *Н*, бывший некогда живым суффиксом, выражал единичное мгновенное действие (сравни: *толкнуть, пихнуть, стукнуть*). Таким образом, в значении данного глагола особенно подчеркивается внезапность и сила падения: "[Танк] всей массой, как стальной таран, ударил в стену, и крыша рухнула" (Бакланов. Июль 41 года).

Прилагательное *рыхлый* в "Словаре Академии Российской, по азбучному порядку расположенному" отмечается со значением "рассыпчивый, сыпучий, нетвердый в составе". Кроме того, слово могло употребляться и в смысле "пришедший в ветхость, непрочный; гнилой": "Здесь книги выписные, / Там жесткая постель – / Все утвари простые, / Все рухлая скудель!" (Батюшков. Мои Пенаты).

В настоящее время слово *рыхлый* считается устаревшим, а для выражения "неплотный, сыпучий" чаще используется прилагательное *рыхлый*: "Прапорщик обеими руками начал разгребать рыхлую, чуть влажную землю" (Степанов. Порт-Артур).

Таким образом, самобытная история слов с корнем *рух-* в русском языке дает возможность еще раз убедиться в исторической изменчивости словарного состава языка.

Труд: деятельность или печаль?

А. В. АЛЕКСЕЕВ

Слово *труд* в настоящее время тесно связано в нашем сознании прежде всего с такими понятиями, как деятельность, работа: "*Труд*. 1. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни людей" (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1975). Таким же образом трактуется смысл слова и в академическом четырехтомнике, причем здесь предлагается ряд употребительных словосочетаний, относящихся к сфере деятельности, работы: "*Физический труд. Наемный труд. Производительность труда. Орудия труда. Плата за труды*" (Словарь русского языка. В 4-х т. М., 1988). Кроме указанного основного значения, в современном языке фиксируются также второстепенные: "результат труда" и "умственное, физическое усилие".

Но всегда ли существительное *труд* было связано только с названными понятиями? Вот пример из Остромирова Евангелия, памятника XI века: "Человек некий, имыи водьны *труд*, бе пред ним". *Труд* означает здесь "болезнь"; использование в таком контексте кажется совершенно невозможным сегодня, однако в древнерусском языке оно было широко распространенным. И в целом слово *труд* имело в XI–XIV веках, по крайней мере, двенадцать значений: "работа", "плоды труда", "трудность", "деятельность", "старание", "забота", "беспокойство", "подвиг", "страдание", "печаль", "боль", "болезнь" (см. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903–1912). Приведем примеры реализации значений "боль" (1) и "старание" (2): 1. "Злая жена, акы *труд* в лядвях" (Слово о Иродиаде и злых женах); 2. "Чай от Господа милости за *труд* твоего дела" (Печерский патерик. Курсив в цитатах наш. – А.А.).

Почему же была возможна такая широта семантики слова *труд* в древнерусском языке? Какова была дальнейшая судьба этого существительного? Прежде всего нам необходимо определить первоначальный смысл слова *труд*: для этого следует обратиться к его этимологии. Как указывает П.Я. Черных, индоевропейская база данного существительного выглядела как **treud*(:troud) и означала "мять, жать, давить, цемить". Восходящие к тому же корню слова встречаются в древневерхненемецком – (*bi*)*driozan* "притеснять, затруднять", в средневрхне-

немецком – *drōz* "тяжелая ноша, досада, трудность" и в древнеисландском языках – *draut* "трудная задача, затруднение, тяжелое испытание", во множественном числе "боли". Таким образом, *труд* не всегда значило то же, что и *работа*: изначальный смысл этого слова может быть определен в соответствии с его внутренней формой как "тяжелая ноша (то, что давит, жмет)". Этот исходный смысл изменялся по двум направлениям. С одной стороны, возник переход "тяжелая ноша → то, что мешаает, всякая трудность вообще" (ср. *drōz*).

Значение "тяжелая ноша" не зафиксировано в древнерусском языке, но для обозначения трудности слово *труд* употреблялось: "И бе чело-век ту хром и приде, ползая многомь *трудом*" (Сказание Иакова о Борисе и Глебе. Список XIV в.). Именно при развитии понятия "трудность" возникли значения "старание" ("испытываемые трудности" → "старание в их преодолении") и "деятельность, работа" ("непрерывное старание, непрерывное преодоление трудностей"). Последнее отмечается уже в XI веке, причем *труд* сразу становится синонимом слова *работа*: "Исаак в просторе живяше вься времена своя, Иаков же в *трудех* и *работах*" (Изборник 1073 г.). Достаточно рано развилось и метонимически обусловленное "плоды труда" ("работа" → "ее результат"): "И сам вьсхоте рукама книги пища и свои *труд* рукодельными вьноса учеником" (Житие Феодора. XII в.).

Однако в семантическом развитии нашего слова существовало и второе направление. Надо полагать, что уже довольно рано произошел метонимический перенос "тяжелая ноша → вызванное ею физическое страдание" (ср. *draut*). Значение "физические мучения, страдания" достаточно широко фиксируется в памятниках, например: "Слава ти, прещедрыи живодавце, яко сподобил мя *труда* святых мученик" (Сказание Иакова о Борисе и Глебе. Список XIV в.). Более общий смысл "физическое страдание" развился в конкретные "боль" и "болезнь", причем в значении "болезнь" слово *труд* употреблялось весьма широко: "На очьныя болезни и на водьныя *труды* пьемо" (Изборник 1073 г.). С семантикой "болезни" связаны и два производных древнерусских существительных: *трудоващица* – "больница" и *трудовище* – "болезнь".

Кроме того, "физическое страдание" было метонимически переосмыслено как "страдание душевное", и в результате этого перехода возникли частные значения "забота", "печаль" и "беспокойство", например: "Но зане творит ми *труд* вдовица си, да мыщу ея, да не до коньца приходящи застоит мене" (Остромирово евангелие).

Смысловое богатство слова *труд* может быть отчасти объяснено сравнением с древнегреческим *ponos*, которое означало работу, страдание, горе, бедствие, болезнь, результат труда. Сразу бросается в гла-

за близость семантики двух слов: это может быть связано с тем, что при переходах с древнегреческого на древнерусский *труд* последовательно использовалось в качестве эквивалента *ponos*.

Таким образом, семантическое развитие слова *труд* было поддержано воздействием смысловой структуры многозначного греческого слова. Переводы с греческого способствовали и возникновению связи *труд* – "монашеский подвиг". Здесь важно то, что *труд* в указанных значениях употреблялось прежде всего в церковной литературе, первоначально в переводной, хотя достаточно рано и в оригинальной: "Суцю же тѣгда божьствьному Феодосію 13 лет толе же начат на *труды* паче подвижниси бывати" (Житие Феодосия Печерского. Список XII в.). Чтобы понять, как возникло значение "монашеский подвиг", надо вспомнить об особенностях учения православной аскетики. Одним из основных препятствий на пути достижения духовного совершенства является страстное состояние души. Страсть – это в первую очередь нездоровая одержимость телесными нуждами, увлечение земными, мирскими удовольствиями. И именно через отказ от этих удовольствий, через претерпевание земных трудностей, телесных страданий, то есть через труд возможно обрести спасение. В этом и состоит суть монашеского подвига, который неотделим от тяжелой ежедневной работы, от постоянного претерпевания физических страданий.

Семантическое движение "страдание, претерпевание" → "монашеский подвиг" отражается в значении весьма распространенного в древнерусском языке слова *трудник*. Это существительное зафиксировано у Срезневского, в словаре церковнославянского языка (Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 1900) и в Словаре Академии Российской: "**Трудник**. Говоря о монашествующих: подвижающийся в тяжких трудах, дабы, чрез изнурение тела своего противустать стремлению страстей" (СПб., 1822).

Что касается значения "печаль", то оно возникло у слова *труд* так же, как и у других существительных, означавших "печаль, скорбь": в результате соотношения душевных переживаний и физических ощущений (см. Русская речь. 1971. № 2). Например, *горе* и *печаль* – это изначально "то, что жжет" (ср. *гореть*, *горячий*, *печь*, *припекать*). Слова *скорбь*, *туга*, *грусть* и *жаль* возникли от корней, означавших "сдавливаться" (*туга*, ср. *тугой*, *тяжелый*), "повреждать каким-либо острым предметом" (*скорбь*, ср. *скрести*), "съедать" (*грусть*, ср. *грызть*; *жаль*, ср. *жалить*). Семантическое развитие "съедать, жевать" → → "вызывать скорбь, печаль" может быть проиллюстрировано следующим интересным примером: "Грусть-тоска меня съедает" (Пушкин. Сказка о царе Салтане). Внутренняя форма слова *труд* ("жать, давать") совпадает, как мы видим, с внутренней формой слова *туга* и

близка внутренним формам других приведенных существительных.

Таким образом, *труд* закономерно являлось синонимом существительных *печаль*, *скорбь*, *туга*, *горе* при обозначении таких понятий, как "печаль" и "скорбь": "Аз же худый наслав, много *труда* подъях и *печали*" (Мстиславово евангелие начала XII века [приписка переписчика]). В последнем примере особо следует отметить совместное употребление двух близких по смыслу слов: это было характерной чертой древнерусского языка, и подобные сочетания зачастую превращались в традиционные формулы. К числу устойчивых пар, обозначавших "печаль", могут быть отнесены уже приведенные ранее *труд* и *печаль*, а также *труд* и *скорбь*, *труд* и *плач*, *горе* и *беда*, *туга* и *скорбь*, *скорбь* и *болезнь* и т.д. Покажем еще несколько примеров использования таких сочетаний: "Бяше *туга* и *печаль*. На улици *скърбь* друг с другом, дома *тъска*, зряще детии, плачуще хлеба" (Новгородская летопись. 1230 г.); "Яко и ны *плача* и непрестаннааго *труда* избави" (Ефремовская кормчая. XI в.). Надо полагать, что именно благодаря употреблению в таких устойчивых формулах слово *труд* продолжало обозначать "печаль, скорбь" в течение достаточно долгого периода: с XI века вплоть до XVI.

В языке было несколько существительных: *печаль*, *скорбь*, *болезнь* – которые являлись синонимами слова *труд* не только в значении "печаль", но и в таких, как "забота" и "болезнь". Приведем, в частности, примеры, в которых выделенные слова обозначают "заботу": "Дом свои, иже еси притяжал с *трудом* и с *скърбию* многаю" (Сборник Троице-Сергиевой лавры. XII в.); "Книгы писане, с русских перевода на пермьские, но и с греческих многажды на пермьския, и не малу *болезнь* имея о сем прилежаше" (Житие Стефана Пермского. XV в.); "И zde бо не остави Бог *труда* митрополича без памяти быти" (Лаврентьевская летопись. 1230 г.).

Синонимическое сближение многозначных слов было обусловлено их семантическим притяжением: употребляясь в одном и том же контексте и имея лишь одно общее значение ("печаль"), такие слова становились синонимами и во многих других. В частности, "болезнь", которое изначально было свойственно словам *болезнь*, *труд*, *скорбь*, было приобретено под их влиянием и существительным *печаль*.

Труд в свою очередь заимствовало у *печали* и *скорби* значение "беда, несчастье", которое вначале не было для него свойственно. Явление семантического притяжения может быть проиллюстрировано примером употребления существительного *труд* в "Слове о полку Игореве": "Чърпахуть ми синес вино с *трудом* смешено". Данное выражение можно понимать двояко: "вино, смешанное с чем-то горьким"; "вино вместе с печалью". Причем "печаль" тоже в свою очередь предстает здесь как диффузное: "горе + забота". Интересно, что в некоторых

изданиях "Слова..." с трудом смешено переводится как *на беде замешено* (Слово о полку Игореве. М., "Молодая гвардия", 1981) – и такая метафора вполне согласуется не только с контекстом, но и с семантическими возможностями слова *труд*. Можно заключить, что *труд* совмещает здесь сразу несколько значений, причем не все из них ему обычно присущи, но абсолютно все характерны для той лексической группы, в которую входит слово. "Беду, несчастье" оно начинает обозначать по аналогии со словами *печаль* и *скорбь*, "горечь" же заимствовано в результате семантического притяжения у существительных *горечь*, *горесть*.

Итак, в XI–XIV веках труд могло употребляться в памятниках письменности по крайней мере в двенадцати значениях: "работа", "результат труда", "трудность", "деятельность", "старание", "забота", "беспокойство", "подвиг", "страдание", "печаль" (в определенных контекстах развивалось в "несчастье"), "боль", "болезнь".

Но в XV–XVII веках смысловая структура слова заметно изменилась. *Труд* выпало из синонимического ряда "скорбь, печаль", поскольку для выражения этого понятия существовало достаточное число других слов. *Труд* перестало соотноситься с "печалью", "заботой" и "беспокойством". Значение "деятельность" потеряло свою самостоятельность и сделалось оттенком "работы". Совершенно утратились значения "подвиг", "боль" и "страдание". Но связанное с двумя последними "болезнь" сохранилось: в первую очередь вследствие того, что *труд* входило в состав устойчивого терминологического сочетания *водъный труд* ("водяная болезнь"; ср. названия других болезней: *черная кручина*, *желтая кручина*, *гортаньяная печаль*, *гърловая скорбь*). В целом произошло сужение семантики слова *труд* вследствие общего процесса сокращения многозначности и исчезновения лексической диффузности (неопределенности, "размытости" значений).

К началу XVIII века *труд* могло обозначать "работу", "результат труда", "старание", "трудность", "болезнь". В XVIII веке окончательно определилась иерархия этих значений: основными сделались "работа" и "результат труда", а "болезнь", "старание" и "трудность" отступили на периферию семантической структуры, сделались стилистически окрашенными. В Словаре Академии Российской указаны как самостоятельные лишь "работа" и "результат труда", при этом отмечено также употребление слова в составе устойчивого сочетания *водъный труд*. "Старание" и "трудность" вовсе не зафиксированы в данном словаре.

В XIX веке "болезнь" было указано как церковное в Словаре церковнославянского и русского языков (СПб., 1847) и в словаре Даля (1882), однако для выражения этого понятия слово *труд* по-прежнему употреблялось лишь в составе сочетания *водъный труд* ("водянка").

В процессе становления современной медицинской терминологии названное сочетание исчезло, и к концу XIX века значение "болезнь" окончательно утратилось.

Исследования языка художественной литературы свидетельствуют о том, что *труд* в смысле "трудность" сохранялось вплоть до середины XIX века – хотя сфера его действия сократилась и ограничилась языком поэзии. В произведениях Пушкина из 249 случаев употребления данного слова значение "трудности, тяготы" реализуется семь раз. Вот один из примеров, здесь *труд* используется, так же, как и славянизм *глад*, для создания эмоциональной выразительности: "Опалу, казнь, бесчестие, налоги, / И *труд*, и *глад* – всё испытали вы" (Борис Годунов).

Следующий пример интересен тем, что *труд* употреблено в нем рядом со словом *горе*, и в этом сочетании, восходящем к древнерусским устойчивым формулам и выполняющим стилистическую функцию, прежняя семантика проявляется особенно ярко: "Мой путь уныл. Сулит мне *труд* и *горе* / Грядущего волнуемое море" (Пушкин. Элегия. "Безумных лет угасшее веселье..."). Представление о *труде* как о "трудности" встречается и в произведениях Лермонтова: "Ребенка пленного он вез. / Тот занемог, не перенес / *Трудов* далекого пути" (Мцыри).

Что же касается значения "старание, усилие", то, хотя оно и не фиксировалось как самостоятельное словарями XIX века, однако не только сохранялось в течение всего прошлого столетия, но и реализуется, оставаясь сегодня третьим для слова *труд*, в произведениях писателей XX века: "Он хотел бы хорошо зарабатывать, занимать видное место в обществе... Но чтобы не принуждать себя, чтобы все пришло само собой, без *трудо*в" (Панова. Времена года).

Однако основными и наиболее актуальными стали со второй половины XIX века "работа" и "результат труда". Это было обусловлено тем, что именно во второй половине XIX и в XX веках философия и наука с особым вниманием обратились к соответствующим реалиям: труд рабочего класса и крестьянства как основа экономического благосостояния, роль труда в развитии человека и общества. А уже в XX веке слово *труд* употребляется со значением "деятельность, работа" и входит в состав многих сложных слов.

Что касается понятия "результат труда", то оно уже в XIX веке было конкретизировано и стало, в частности, связываться с результатами научной работы, причем во множественном числе *труд* начало последовательно использоваться в названиях научных сборников: *Труды научного общества*.

Важно заметить, что и сегодня слово *труд* относится прежде всего к особо тяжелой, напряженной работе. Кроме того, всеми современными

словарями указывается значение "усилие", которое особенно часто реализуется в сочетаниях слова *труд* с предлогами *с, без*. Интересно и то, что понимание *труд* как "тяжести, препятствия" сохранилось в семантике его производных: *трудный, трудность*.

Можно, таким образом, заключить, что хотя те значения, которые существовали в древнерусском языке, частью уже совершенно утрачены ("боль", "болезнь", "скорбь", "подвиг", "страдание", "беспокойство", "забота"), частью устарели и не воспринимаются как актуальные ("старание", "трудность"), однако особенности первоначальной семантики ("тяжесть, страдание, тяготы") ощущаются в употреблении слова *труд* и сегодня.

Я говорю – ты говоришь

Ответы к заданиям (см. с. 54)

Задание 1.

А. *натуральный* →

- 1) *цвет* ("соответствующий законам природы, обязанный им")
- 2) *продукт* ("настоящий, подлинный, природный")
- 3) *мех* – то же значение
- 4) *налог* ("относящийся к оплате натурой, не деньгами")
- 5) *хозяйство* – то же значение
- 6) *жест* ("простой, обычный для кого-л., непринужденный")*
- 7) *смех* ("непритворный")*
- 8) *наука* ("относящийся к природе" – *устар.*)
- 9) –
- 10) –

естественный →

- 1) *цвет* ("соответствующий законам природы, обязанный им")
- 2) *продукт* ("настоящий, подлинный, природный")
- 3) *мех* – то же значение
- 4) –
- 5) –
- 6) *жест* ("простой, обычный для кого-л., непринужденный")
- 7) *смех* ("непритворный")
- 8) *наука* ("относящийся к природе")
- 9) *ход вещей* ("нормальный, обычный")
- 10) *путь развития* – то же значение

* Эти значения отмечаются толковыми словарями, но, на наш взгляд, уже почти не воспринимаются как возможные, скорее мы скажем "естественный смех", "естественный жест".

Б. *вакуум* →

- 1) *духовный* ("моральная опустошенность")
- 2) *в атмосфере* ("состояние сильно разреженного вещества")
- 3) –
- 4) –
- 5) –

пустота →

- 1) –
- 2) –
- 3) *комнаты* ("незаполненность")
- 4) *разговора* ("бессодержательность")
- 5) *душевная* ("отсутствие интересов, стремлений" – *книжн.*)

В. дискутировать →

1) *о законе* ("обсуждать что-н., участвуя в дискуссии" – в деловой или научной ситуации, *книжн.*)

2) *о наследстве* – то же значение

3) –

спорить →

1) *о законе* ("обсуждать что-н., участвуя в дискуссии" – в бытовой ситуации)

2) *о наследстве* ("взаимно притязать на владение")

3) *о том, кто придет первым* ("держат пари")

Г. собственный →

1) *в с. смысле* ("буквальный, настоящий")

2) *вес* (без посторонних добавлений) – спец.)

3) –

4) *опыт* ("свой, личный")

личный →

1) –

2) –

3) *оскорбление* ("относящийся к какому-л. лицу")

4) *опыт* ("свой, личный")

В слове "личный" в отличие от слова "собственный" выражается связь с человеком как членом общества. Поэтому, например, можно сказать "собственными глазами", но нельзя "личными глазами".

Д. обрести →

1) *вещь* ("обнаружить в результате поисков, наблюдений" – *высок.*)

2) *утешение* ("испытать" – *высок.*)

3) –

4) –

найти →

1) *вещь* ("обнаружить в результате поисков, наблюдений")

2) *утешение* ("испытать")

3) *его дома* ("застать, увидеть, обнаружить где-л. или в каком-л. состоянии")

4) *нужным* ("прийти к заключению, признать, счесть")

Задание 2.

Артистичный ("отличающийся артистизмом, искусный, виртуозный") – *артистический* ("относящийся к артисту").

Гуманитарный ("относящийся к циклу наук о человеке и культуре; направленный на защиту прав и свобод человека; обращенный к человеческой личности, к правам и интересам человека; бескорыстный") – *гуманный* ("человечный, отзывчивый, культурный"). – Подробнее об этих словах см. Русская речь. 1997. № 4.

Заблудиться ("сбиться с пути, потерять дорогу, потерять представление о том, где находишься") – *заблуждаться* ("иметь неправильное, ошибочное мнение о ком–чем-л., превратно судить о ком–чем-л.").

Наследие ("явление культуры, быта и т.д. (положительное или отрицательное), полученное от предыдущих эпох, от прежних деятелей", *высок.*) – *наследство* ("имущество, переходящее после смерти его владельца к другому лицу; явления культуры, быта, оставшиеся от прежних деятелей, прежних времен").

Объемный (от *объем* как "величина чего-л. в длину, высоту и ширину, измеряемая в кубических единицах") – *объемистый* (от *объем* как "вообще величина, размер").

Одеть (действие, обращенное на другое лицо или предмет, выраженный прямым дополнением – кого-л., или что-л.: одеть ребенка, куклу) – *надеть* (действие, производимое по отношению к самому себе или – в конструкциях с предлогом "на" – по отношению к другому лицу или предмету: надеть пальто, надеть шубу на ребенка, надеть чехол на кресло).

Типовой ("стандартный") – *типичный* ("ярко выраженный, явный") – *типический* ("воплощающий характерные особенности какого-л. типа, характерный, обычный; свойственный какой-л. определенной группе лиц, предметов, явлений").

Цветистый ("переливающийся разными оттенками, покрытый разнообразными красками; витиеватый, излишне украшенный") – *цветной* ("имеющий какой-л. цвет") – *цветастый* ("покрытый большим количеством разнообразных цветов, яркий").

Слово "черепеховый" в заголовке газетного текста "Черепеховые темпы" употребляется неправильно: оно значит "приготовленный из черепехи", а журналист хотел сказать "черепашьи темпы" ("медленные, такие, как у черепехи").

Задание 3.

1. Приборы помогают установить, какие детали являются *бракованными*.

2. Лучшие рабочие цеха не раз занимали *выборные* должности.

3. Сюжетом повести стала *драматичная* ситуация, сложившаяся в семье знаменитого писателя.

4. Зачем ты хочешь казаться *ироничным* человеком?
5. В этом контейнере может *поместиться* только четыре автомобиля.
6. Известный модельер оказался весьма милым человеком. На показе он *разместился* недалеко от подиума.
7. Сказка жила и передавалась из уст в уста, переходила из поколения в поколение. Ее корни *глубоко* народные.
8. Ему *предоставили* такую возможность, но он не сумел ею воспользоваться.

Задание 4.

Климатический – от *климат* как "метеорологические условия, свойственные данной местности" → *погодный* – от *погода* как "состояние атмосферы в данном месте в данное время".

Ритм – "равномерное чередование элементов; налаженный ход чего-л., размеренность" → *темп* – "степень быстроты", *скорость* – "расстояние в единицу времени".

Конструкция (здания – "состав и взаимное расположение частей строения, сооружения, механизма" (взгляд изнутри) → *строение, сооружение, вид* – "внешность, видимый облик" (взгляд снаружи).
